

ТОВЕ ДИТЛЕВСЕН
Детство

No Kidding Press



ТОВЕ

ТОВЕ ДИТЛЕВСЕН
Детство

No Kidding Press



TO LOVE



t.me/marketologmanager



Издание осуществлено при поддержке Danish Arts Foundation

Tove Ditlevsen

Barndom

Gyldendal

Тове Дитлевсен

Детство

No Kidding Press

Информация от издательства

Дитлевсен Т.

Детство / Т. Дитлевсен ; пер. А. Рахманько. — М. : No Kidding Press, 2020.

ISBN 978-5-6044749-3-8

Тове знает, что она неудачница и ее детство сделали совсем для другой девочки, которой оно пришлось бы в самый раз. Она очарована своей рыжеволосой подругой Рут, живущей по соседству и знающей все секреты мира взрослых. Но Тове никогда по-настоящему не рассказывает о себе ни ей, ни кому-либо еще, потому что другие не выносят «песен в моем сердце и гирлянд слов в моей душе». Она знает, что у нее есть призвание и что однажды ей неизбежно придется покинуть узкую улицу своего детства.

«Детство» — первая часть «копенгагенской трилогии», читающаяся как самостоятельный роман воспитания. Это книга о взрослении, семье, дружбе, амбициях и предназначении, полная эмоциональных прозрений и иронии.

Все права защищены.

Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

© Анна Рахманько, перевод на русский язык, 2020

© Издание на русском языке, оформление. No Kidding Press, 2020

Утром еще тлела надежда. Она мимолетным проблеском пряталась в темных прямых волосах моей мамы, к которым я никогда не смела прикоснуться; она лежала у меня на языке вместе со сладковатым теплом овсяной каши; я ела не спеша, рассматривая тонкие мамины руки, неподвижно покоившиеся на газете, прямо на новостях об испанском гриппе и о Версальском мирном договоре. Отец к тому времени уходил на работу, брат — в школу. Мама оставалась одна, хотя я и сидела рядом; и если мне удавалось затаиться, не выдавая себя ни звуком, то потаенная тишина ее непроницаемого сердца длилась — пока утро не старилось и не настаивала пора идти за покупками на улицу Истедгаде, как и было заведено у обычных жен.

Солнце всходило над зеленой цыганской кибиткой — словно вырывалось прямо из нее, и появлялся Чесотка-Ханс: голый по пояс, в руках таз. Окатившись водой, он тянулся за полотенцем, которое Лили-Красотка немедленно ему подавала. Они обходились без слов — точь-в-точь картинки в книжке, когда листаешь ее быстро-быстро. Как и моя мама, через несколько часов они менялись. Чесотка-Ханс состоял в Армии спасения, Лили-Красотка была его возлюбленной. Летом они набивали свою зеленую кибитку маленькими детьми и вывозили их на природу, за что родители платили по кроне в день. Я тоже ездила с ними, когда мне было три года, а моему брату семь. В свои пять лет из всей поездки я помнила только, как Лили-Красотка однажды высадила меня из кибитки на теплый песок, показавшийся мне настоящей пустыней. Зеленая повозка тронулась и покатила, становясь всё меньше и меньше, внутри сидел брат, и я думала, что больше никогда не увижу ни его, ни маму. Домой все дети вернулись с чесоткой. Именно так Ханс и заработал свое прозвище. Лили-Красотка не была красивой. А вот моя мама — да, особенно в эти странные и радостные утренние часы, когда я оставляла ее в покое и в полной тишине. Прекрасная, недосягаемая, оди-

нокая, погруженная в глубокие тайные переживания, которых я бы ни за что не угадала. Позади нее на обоях в цветочек — расплзшиеся куски отец подлатал коричневой клейкой лентой — висела картинка с пристально смотрящей в окно женщиной, рядом с которой на полу стояла люлька с младенцем. Подпись внизу поясняла: «Жена ждет возвращения мужа с моря»¹. Порой мама замечала, куда я смотрю, и вслед за мной скользила взглядом по картине, которая казалась мне такой нежной и грустной. Но потом раздражалась внезапным смехом, и он звучал так, словно несметное число бумажных мешков взрывалось от распиравшего их воздуха. Мое сердце билось быстрее от тоски и сожаления, что кто-то нарушил тишину вселенной, но я тоже смеялась, потому меня, как и маму, охватывало мрачное веселье. Внезапно она отталкивала стул, поднималась и вставала перед картиной, в помятой ночной рубашке, уперев руки в бока. Чистым и озорным девчачьим голосом — не своим, как и тот, которым она торговалась с продавцами на рынке, — мама пела:

Не клялась ли я моей Тулле
Спеть ей всё, что захочу?
Висселюлле, висселюлле.
От окон уйди, друг мой,
Возвращайся в раз иной.
Стужа с холодом пригнали
Бродягу старого домой.

Песня мне совсем не нравилась, но приходилось смеяться, ведь мама пела специально, чтобы меня развеселить. Да я и сама была виновата: не разглядывала бы женщину на стене — осталась бы незамеченной. Мама с ее строгими прекрасными глазами сидела бы, аккуратно сложив руки и уставившись в разделяющую нас пустоту. И мое сердце могло бы еще долго шептать «мама», зная, что она каким-то загадочным способом его услышит. Я бы позволила ей побыть одной снова и снова, чтобы она беззвучно произносила мое имя и знала, что мы

неразрывно связаны. Тогда что-то очень похожее на любовь наполнило бы весь мир, и передалось бы Чесотке-Хансу и Лили-Красотке, и они так и остались бы цветными картинками в книге. Но стоило песне закончиться, как они принимались ссориться, кричать и таскать друг друга за волосы. Сердитые голоса разом врывались из подъезда в нашу гостиную, и я клялась себе: завтра сделаю вид, будто этой печальной картины на стене больше нет.

Теперь, когда надежда была разрушена, мама начинала одеваться резкими и раздраженными движениями, словно каждый предмет гардероба ее оскорблял. Нужно было одеваться и мне — окружающий мир становился холодным, опасным и мерзким: темная ярость, в которую всегда впадала моя мама, выливалась в то, что я получала пощечины или отлетала к печке. Она казалась мне такой чужой и странной, что я верила, будто меня еще в младенчестве подменили и она мне вовсе не мама. Одевшись, она подходила к зеркалу в спальне, плевала на какую-то розовую папиросную бумажку и грубо и сильно растирала ею щеки. Я уносила чашки в кухню, и длинные, таинственные слова начинали окутывать мой разум, словно укрывая его защитной пеленой. Песня, стихотворение, что-то успокаивающее и ритмичное и бесконечно меланхоличное, но никогда не печальное и не тревожное, ведь я знала, что мой день и без того будет и печальным, и тревожным. Когда эти светлые волны слов захлестывали меня, я понимала, что мама больше ничего не сможет мне сделать, ведь теперь она переставала для меня что-либо значить. И она это знала: взгляд ее наполнялся враждебностью. Пока моя душа плыла, мама никогда меня не била, но и не заговаривала со мной. С этого момента и до следующего утра оставались только наши тела — рядом, бок о бок. Но даже в этой тесноте они избегали малейшего, даже самого легкого касания. На стене жена моряка по-прежнему ждала мужа, но в нашем мире ни мне, ни маме мужчины не были нужны. Наше хрупкое счастье, странное и бесконечное, расцветало, только если мы оставались наедине, и когда я выросла, оно уже не

возвращалось — разве что иногда случались редкие промельки, которые после маминой смерти стали мне еще дороже, ведь не осталось никого, кто бы мог рассказать ее настоящую историю — какой она была на самом деле.

На самом дне моего детства стоит отец и смеется. Он темен и стар, как печь, но я абсолютно ничего в нем не боюсь. Я знаю о нем всё, что мне разрешено знать, а если захочу узнать что-нибудь еще, нужно лишь спросить. Сам он ничего о себе мне не рассказывает, потому что совсем не представляет, о чем говорить с маленькими девочками. Иногда он треплет меня по голове и говорит: хе-хе. В ответ мама поджимает губы, и он торопливо убирает руку. У отца есть определенные привилегии, потому что он мужчина и обеспечивает нас всех. Мама с этим мирится, но не без возражений. Ты мог бы сидеть так же, как и все остальные, говорит она, когда он лежит на диване. Когда он читает книгу, она добавляет: от чтения становятся странными, в книгах сплошная ложь. По воскресеньям отец выпивает бутылку пива, и тогда мама говорит: оно стоит двадцать шесть эре. Если будешь так продолжать, мы окажемся в Суннхольме². Хотя я и знаю, что в Суннхольме спят на соломе и едят соленую селедку три раза в день, слово попадает в стихотворения, которые я сочиняю в моменты страха и одиночества, потому что оно прекрасно, как картинка в одной из отцовских книг, что так мне нравится. Она называется «Семья рабочего на природе» и изображает родителей с двумя детьми. Они сидят на траве и вместе смеются и едят из лежащей посередине корзины. Взгляды всех четверых обращены к флагу, воткнутому в траву рядом с головой их отца. Флаг сплошь красный. Я всегда смотрю на эту картинку вверх ногами — мне это удастся, лишь когда отец читает книгу. Затем мама включает свет и задергивает окно желтыми занавесками, даже если еще не стемнело. Мой отец был подлецом и пьяницей, произносит она, но хотя бы не социалистом. Отец продолжает читать — он глуховат, и это всем хорошо известно. Мой брат Эдвин сидит и забивает гвозди в доску, а затем вытягивает их клещами. Однажды он станет ремесленником, мастером. И это хорошо, даже очень. Столы в домах у мастеров вместо

газет покрыты настоящими скатертями, и едят они с ножом и вилкой. Им никогда не остаться без работы, и они не социалисты. Эдвин красив, а я уродлива. Эдвин умен, а я глупа. Это такие же прописные истины, как печатные белые буквы на торце булочной в конце улицы. Там написано «Политикен — лучшая газета». Однажды я спросила отца, почему он читает «Социалдемократен», но тот нахмурился, прокашлялся, а мама и Эдвин зашлись своим обычным бумажным смехом от того, что я так ужасно глупа.

Гостиная — островок света и тепла в те тысячи вечеров, когда мы собираемся вчетвером, словно бумажные куклы со стены позади колонн в кукольном театре — его отец смастерил по модели из «Фамилие Журнален». Вечная зима, в мире тот же холод, что и в нашей спальне и кухне. Гостиная плывет сквозь время и пространство, и огонь трещит в печи. Хотя Эдвин грохочет молотком, шелест перевернутой отцом страницы в запрещенной книге, кажется, заглушает шум. Отец пролистывает уже много страниц, когда Эдвин, отложив молоток, поднимает на маму свои большие карие глаза. Может, мама поет? — предлагает он. Да, отвечает она, улыбаясь ему, и в тот же момент отец кладет книгу на живот и смотрит на меня, словно желая о чем-то со мной поговорить. Но слова, которые я и мой отец хотим сказать друг другу, никогда не будут произнесены. Эдвин вскакивает и протягивает маме ее единственную книгу, которую она бережно хранит. Сборник военных песен. Пока мама листает, брат склоняется над ней; даже не касаясь друг друга, они всё равно так близки, что мы с отцом из этой близости исключены. Как только мама начинает петь, отец сразу засыпает, сложив руки на запрещенной книге. Она поет громко и пронзительно, словно отделяя себя от слов песни:

О, мама, ты ли это, мама?

Ты много слез, я вижу, пролила.

Ты долгий путь прошла. Наверно, ты устала.

Не плачь, теперь я счастлив, мама.

Спасибо, что ты здесь, всем ужасам наперекор.

Во всех маминых песнях множество куплетов, и не успевает она закончить и первую, как Эдвин снова берется за молоток, а отец храпит еще громче. Брат попросил спеть, чтобы смягчить мамин гнев из-за отцовского чтения. Эдвин — мальчик, а мальчикам не интересны песни, вызывающие слезы. Моей маме совсем не нравится, когда я плачу, поэтому с комом в горле я склоняюсь над изображением поля боя, где умирающий солдат протягивает руку к светящемуся образу своей матери, которой на самом деле, я уверена, там нет. Все песни в сборнике одинакового содержания, и пока мама их поет, я могу делать всё, что мне взбредет в голову, потому что она полностью погружена в свой собственный мир и ничто извне не может ее отвлечь. Она даже не слышит, как внизу начинают драться и ссориться. Там живет Рапунцель с длинной золотой косой вместе со своими родителями, которые пока что не продали ее ведьме за букет колокольчиков. Мой брат — принц, и он не подозревает, что ослепнет после падения с башни. Он, гордость семьи, заколачивает гвозди в доску. Это занятие для мальчиков, а девочкам нужно просто выйти замуж и родить детей. Они должны быть обеспечены, и больше им нечего ждать и не на что рассчитывать. Родители Рапунцель работают на заводе «Карлсберг» и каждый день выпивают за смену по пятьдесят бутылок пива. Вернувшись вечером домой, они продолжают пить и незадолго до того, как я укладываюсь спать, принимаются орать и колотить Рапунцель толстой палкой. В школу она всегда приходит с синяками на лице или ногах. Устав бить дочь, они бросаются друг на друга с бутылками и сломанными ножками от стульев; нередко приходит полиция и забирает одного из них, и лишь тогда в доме наконец-то наступает тишина. Мои мама и отец терпеть не могут полицию. Они считают, что родители Рапунцель вправе преспокойно забить друг друга до смерти, если им так этого хочется. Отец утверждает, что полиция выполняет поручения влиятельных людей, а мама часто вспоминает, как жандармы забрали и отправили в тюрьму

ее отца. Она никогда этого не забудет. Мой отец не пьет и в тюрьме никогда не сидел. Мои родители не дерутся, и у меня всё намного лучше, чем в их детстве. Но всё равно темная полоска страха окаймляет все мои мысли, когда внизу утихают и мне пора ложиться спать. Спокойной ночи, говорит мне мама, закрывает дверь и возвращается в теплую гостиную. Я снимаю платье, шерстяной подъюбник, лиф и длинные черные чулки, которые каждый год получаю в подарок на Рождество, через голову натягиваю ночную рубашку и на мгновение задерживаюсь у окна, смотрю вниз, в глубину черного двора и на стену парадного³ здания, которая постоянно плачет, словно только что прошел дождь. В окнах почти никогда не бывает огня, потому что за ними спальни, а все нормальные люди спят без света. Мне виден маленький квадрат неба между стен, на котором иногда сияет одинокая звезда. Я зову ее вечерней звездой и изо всех сил думаю о ней, когда мама заходит погасить свет и я из кровати наблюдаю, как гора одежды позади двери превращается в длинные корявые руки, которые пытаются оплести мою шею. Я пробую закричать, но получается лишь слабый шепот, и когда крик наконец пробивается, мы с кроватью утопаем в поту. В дверях появляется отец и включает свет. Тебе просто приснился кошмар, говорит он, в детстве я от них тоже сильно страдал. Но то были другие времена. Он задумчиво смотрит на меня, даже не представляя, что ребенка с такой хорошей судьбой, как у меня, могут мучить кошмары. Я застенчиво улыбаюсь и извиняюсь, будто мой крик был всего лишь глупым капризом. Одеяло натягиваю до самого подбородка, ведь мужчине не положено видеть девочку в ночной рубашке. Да-да, говорит он, выключает свет и снова уходит, каким-то образом унося с собой мои страхи, я спокойно засыпаю, и гора одежды позади двери — снова лишь кучка старого тряпья. Я погружаюсь в сон, чтобы спрятаться от ночи, которая проходит мимо моего окна и тянет за собой шлейф ужаса, зла и опасностей. На Истедгаде, такой светлой и праздничной днем, сейчас режут машины полицейских и скорой

помощи, пока я лежу здесь, надежно укрывшись под одеялом. В канаве лежит пьяница с разбитой окровавленной головой, а если зайти в кафе «Чарльз», тебя убьют. Так говорит мой брат, а всё, что он говорит, — правда.

Мне почти шесть лет, и скоро меня запишут в школу, потому я умею и читать, и писать. Мама с гордостью рассказывает об этом любому, кто захочет ее слушать. Она говорит: и среди детей бедняков встречаются светлые головы. Может быть, она всё-таки меня любит? Мои отношения с ней — тесные, мучительные и тревожные, и мне постоянно приходится выискивать хоть один знак любви. Что бы я ни делала, я делаю, чтобы угодить ей, вызвать ее улыбку, смягчить ее гнев. Эта работа очень утомляет, потому что одновременно мне приходится многое от нее скрывать. Некоторые вещи я узнаю, подслушав, кое-что читаю в отцовских книгах, о чем-то мне рассказывает брат. Недавно мама лежала в больнице, и нас обоих оставили на попечении тети Агнете и дяди Питера. Это сестра моей мамы и ее богатый муж. Мне они сказали, что у мамы всего лишь болит живот, но Эдвин над этим только посмеялся и потом объяснил мне, что ее «амбуртировали». У нее в животе был ребенок, и он там умер. Поэтому ее разрезали вниз от пупка и удалили младенца. Это казалось непостижимым и страшным. Когда мама вернулась из больницы домой, ведро под умывальником каждый день наполнялось кровью. Стоит мне только подумать об этом, как перед глазами тут же появляется картина: красивая женщина в длинном красном платье из рассказов Захариаса Нильсена. Она прижимает к себе маленькую белую руку прямо под грудью и говорит роскошно одетому джентльмену: я ношу под сердцем ребенка. В книгах это что-то красивое и бескровное, оно успокаивает и утешает. Эдвин говорит, что меня будут часто колотить в школе, оттого что я такая странная. Я странная, потому что, как и отец, читаю книги и понятия не имею, как нужно играть. Но мне всё равно не страшно, когда, держась за мамину руку, я вхожу в красные ворота школы на улице Энгхавевай, так как в последнее время мама вселила в меня абсолютно новое ощущение моей уникальности. Она надела свое новое пальто с меховым

воротником до самых ушей и поясом на бедрах. Ее щеки, натертые папиросной бумагой, алеют, губы тоже, а подрисованные брови напоминают двух маленьких рыбок, бьющих хвостами к вискам. Я убеждена, что ни у кого из детей нет такой красивой мамы. На мне самой перешитая одежда Эдвина, но об этом никто не догадается, потому что над ней потрудились тетя Розалия. Она — швея и любит нас как родных детей. Своих у нее нет.

Когда мы входим в совершенно пустое с виду здание, в нос резко ударяет едкий запах. Я узнаю его, и сердце замирает от этого хорошо знакомого мне запаха страха. Мама тоже его замечает, потому что отпускает мою руку, пока мы поднимаемся по ступенькам. В кабинете директора нас принимает дама, похожая на ведьму. Ее зеленоватые волосы птичьим гнездом лежат на голове. Очки у нее только на один глаз — наверное, другое стекло сломалось. Кажется, что у нее совсем нет губ — так крепко они сжаты, и над ними нависает крупный, усеянный порами нос с ярко-красным кончиком. Ну, спрашивает она без всякого вступления, значит, тебя зовут Тове? Да, отвечает мама, которую едва ли удостоили взглядом, не говоря уже о том, чтобы предложить ей стул, — и Тове умеет читать и писать без ошибок. Дама разглядывает меня так, словно обнаружила меня под камнем. Это напрасно, произносит она холодно, мы учим детей по своему специальному методу. Щеки мои наливаются стыдливой краснотой, как и всегда, когда из-за меня маму унижают. Гордость моя сметена, недолгое мое счастье быть особенной — разрушено. Мама слегка отодвигается от меня и неразборчиво говорит: она сама научилась, это не наша вина. Я поднимаю на нее глаза и одновременно осознаю несколько вещей: она меньше других взрослых женщин, моложе других матерей и боится мира за пределами нашей улицы. И в момент, когда мы вместе боимся его, она готова нанести мне удар со спины. Мы стоим перед ведьмой, и я чувствую, как от маминых рук пахнет мытьем посуды. Я этот запах терпеть не могу, и когда мы в полной тишине покидаем школу, мое сердце наполняется хаосом гнева, печали и жалости,

которые мама и впредь будет вызывать во мне всегда, всю мою жизнь.

Между тем существуют определенные факты. Они неуклюжи и неподвижны, как уличные фонари, но те перевоплощаются хотя бы по вечерам, когда фонарщик прикасается к ним своей волшебной палочкой. И фонари светят, будто большие нежные подсолнухи на узкой полоске границы дня и ночи, где люди передвигаются тихо и медленно, словно по дну зеленого моря. Факты же никогда не светят и не размягчают сердце, как «Дитте — дитя человеческое», одна из первых прочитанных мною книг. Это социальный роман, поучает меня отец, что, может быть, и факт, — но мне он ни о чем не говорит и толку от него нет никакого. Глупости, говорит мама. Факты маме совсем не нравятся, и ей лучше, чем мне, удастся их игнорировать. В те редкие моменты, когда отец по-настоящему сердится на нее, он уверяет, что всё в ней — сплошная ложь, но я знаю, что это не так. Я знаю, что у каждого человека своя правда, как у каждого ребенка — свое детство. Мамина правда совсем не похожа на отцовскую, и это так же ясно, как факт, что у него глаза карие, а у нее — голубые. К счастью, так заведено, что молчание о правде можно хранить в своем сердце, а безжалостные серые факты заключены в классных школьных журналах, и в истории мира, и в законах, и в церковных книгах. И никто не может их изменить, даже сам Господь Бог, которого я путаю со Стаунигом, хотя отец и говорит, что мне не стоит верить в Бога, так как капиталисты всегда использовали его против бедных.

Итак.

Я родилась 14 декабря 1918 года в тесной двухкомнатной квартире в районе Вестербро в Копенгагене. Мы жили по адресу Хедебюгаде, 30А, и это «А» означало дом во дворе. В парадном здании, где окна выходили на улицу, жили люди получше, и хотя их квартиры были точь-в-точь как наши, каждый месяц они платили на две кроны больше. Это был год окончания Мировой войны, тогда же ввели и восьмичасовой рабочий день.

Мой брат Эдвин родился в начале Мировой войны, и тогда мой отец работал по двенадцать часов. Он был кочегаром, с глазами, вечно красными от искр из топки. К моему появлению на свет ему исполнилось тридцать семь, а маме — на десять лет меньше. Он родился в Нюкёбинг-Морс, был внебрачным ребенком и никогда не знал своего отца. В шесть лет его отдали в подпаски, и примерно тогда же его мать вышла замуж за гончара по имени Флутруп, от кого и родила девятерых детей. Но мне ничего не известно об этих сводных братьях и сестрах, потому что я ни разу их не видела, а мой отец никогда о них не рассказывал. В шестнадцать лет он уехал в Копенгаген и разорвал отношения со всей семьей. Он мечтал писать, и эта мечта никогда его не оставляла. Ему удалось устроиться стажером в какое-то издание, но по неизвестным причинам он оттуда ушел. Я совсем не знаю, как он провел в Копенгагене десять лет, пока в свои двадцать шесть не повстречал мою маму в булочной на Торденскьольсгаде. Ей было шестнадцать, и она работала продавщицей в лавке, куда отец устроился помощником пекаря. Это обернулось невероятно долгой помолвкой, которую отец несколько раз разрывал, считая, что мама ему изменяет. Я уверена, что большинство поводов были абсолютно невинными. Просто эти два человека оказались настолько разными, словно прилетели с разных планет. Отец был меланхоличным, серьезным, истовым моралистом, а мама, по крайней мере в молодости, была веселой и ветреной, легкомысленной и тщеславной. Она работала горничной, постоянно перебегала с места на место; если ее что-нибудь не устраивало, она просто уходила, и моему отцу приходилось забирать ее трудовую книжку и комод, который он на грузовом велосипеде перевозил на новое место, где ее снова что-нибудь не устраивало. Сама она однажды призналась мне, что нигде не проработала столько, чтобы успеть хотя бы яйцо сварить.

В мои семь лет на нас свалилось несчастье. Мама только что закончила вязать для меня зеленый свитер. Я надела его, и он показался мне таким красивым. К концу дня мы отправились встречать с работы отца. Он трудился на заводе «Ридель

и Линдегор» на Кингосгаде. Он работал здесь всегда, то есть столько, сколько я себя помнила. Мы пришли немного пораньше, и я решила попинать кучи тающего снега вдоль канавы, пока мама ждала, облокотившись на зеленые перила. Стоило отцу показаться в дверях, как сердце у меня забилось быстрее. Его лицо было серым, другим, странным. Мама быстро подошла к нему. Дитлев, сказала она, что стряслось? Отец потупился. Уволили, ответил он. Этого слова я не знала, но поняла: произошло непоправимое. Мой отец стал безработным. То, что могло затронуть только других, ударило и по нам. Завод «Ридель и Линдегор», от которого до сих пор исходило только хорошее — и даже мои еще ни разу не потраченные воскресные пять эре, — теперь превратился в злобного, жуткого дракона, извергнувшего моего отца из огнедышащей пасти и безразличного к его судьбе, к нам и моему новому зеленому наряду, который даже не успел увидеть. По дороге домой никто не проронил ни слова.

Я попыталась скользнуть в мамину ладонь своей рукой, но та резко оттолкнула. Когда мы вошли в гостиную, отец виновато поглядел на маму: ну что ж, произнес он, поглаживая двумя пальцами черные усы, пособие не скоро закончится. Ему было сорок три года — слишком много, чтобы устроиться на постоянную работу. Но я помню, как профсоюзное пособие всё-таки закончилось и зашла речь о помощи от государства. Всё обсуждалось шепотом и только после того, как мы с братом отправлялись в кровать, потому что такое считалось несмываемым позором — как вши или визит службы опеки над детьми. Начав получать социальные выплаты от государства, человек лишался права голоса. С голода мы никогда не умирали, в моем желудке всегда что-то да было, но мне знакомо это чувство полуголода — его испытываешь, когда из-за двери устроившихся получше людей пахнет обедом, а ты уже много дней подряд живешь только на кофе с черствыми венскими слойками, которыми за двадцать пять эре можно набить школьную сумку.

Это я их покупала. Каждое воскресенье в шесть утра мама будила меня и отдавала приказ, устроившись под уютным одеялом в супружеской постели рядом с моим отцом, еще спящим. Пальцы коченели от холода, прежде чем я успевала выйти на улицу, а я хватала сумку и неслась вниз по лестнице в обычной для этого часа крошечной тьме. Я открывала дверь во двор, и осматривалась по сторонам, и заглядывала во все окна парадного дома, чтобы никто не заметил меня за выполнением постыдного поручения. Никто не должен узнать, что ты покупаешь вчерашний хлеб, — как никто не должен узнать, что ты ходишь на улицу Карлсбергвай на раздачу школьных обедов, которые были единственной мерой социальной поддержки для малообеспеченных семей в Вестербро тридцатых годов. Последнее и мне, и Эдвину строго-настрого запрещалось. И наконец, никто не должен был узнать, что твой отец — безработный, хотя тогда половина наших отцов не работали. Поэтому мы прятали свой позор за безумнейшей ложью: самой простой была история, что отец упал со строительных лесов и теперь на больничном. У булочной на Тендергаде очередь детей вилась по улице змеей. У каждого была с собой сумка, и все трещали о том, до чего же хорош хлеб у этого пекаря, особенно свежее испеченный. Когда подходил мой черед, я выкладывала сумку на прилавок, шепотом произносила то, что мне поручили, и громко добавляла: и желательно пирожные с кремом. Мама строго наказывала мне попросить белого хлеба. По пути домой я успевала слопать четыре-пять кисловатых пирожных со взбитыми сливками, обтирала рот рукавом пальто, и мама, роясь на дне сумки, ни разу меня не уличила. Мне никогда не доставалось за мои преступления — или это происходило редко. Мама била меня сильно и часто, но, как правило, беспричинно и несправедливо, и во время наказания я чувствовала что-то вроде потаенного стыда и тяжелой скорби, от которых на глаза наворачивались слезы и болезненная пропасть между нами увеличивалась. Отец не бил меня никогда. Напротив — он всегда был благосклонен ко мне. Все мои детские книги были от него, и на мое пятилетие

он подарил мне чудесное издание сказок братьев Гримм, без которых мое детство было бы серым, грустным и убогим. И всё же я не испытывала к нему сильных чувств, за что часто себя укоряла, когда, сидя на диване, он останавливал на мне свой спокойный пытливый взгляд, словно желая что-то сказать мне или сделать — то, что ему так никогда и не удалось выразить. Я была маминой дочкой, а Эдвин — папиным сыном: закон природы не изменить. Однажды я спросила: «причитания» — папа, что это значит? Я нашла это выражение у Горького, и оно очень понравилось мне. Отец долго думал, поглаживая вздернутые кончики усов. Это русское понятие, произнес он. Означает боль, одиночество, печаль. Горький был великим поэтом. Я ответила, довольная: я тоже хочу стать поэтом! Отец тут же нахмурился и грозно сказал: не обольщайся, девушка не может быть поэтом! Оскорбленная и опечаленная, я снова замкнулась в себе, а мама и Эдвин тем временем смеялись над моей сумасшедшей прихотью. Я поклялась больше никогда не делиться своими мечтами с кем бы то ни было и пронесла это обещание через всё детство.

Вечереет, и я, как обычно, сижу на холодном подоконнике в спальне и смотрю во двор. Это самое счастливое мое время за весь день. Первая волна страха схлынула. Отец пожелал мне спокойной ночи и вернулся в нагретую гостиную, одежда позади двери больше не пугает. Я наблюдаю за моей вечерней звездой, которая, словно благосклонное око Бога, беспрестанно сопровождает меня и кажется еще ближе, чем в течение дня. Однажды я запишу все слова, что пронизывают меня. Однажды люди прочтут их в книге и поразятся, что девушка тоже может быть поэтом. Мои родители будут гордиться мною еще больше, чем Эдвином, и проницательная школьная учительница (которая мне пока не повстречалась) скажет: я это заметила, когда она была еще совсем ребенком. В ней было что-то особенное! Мне так сильно хочется записывать слова, но где мне их потом прятать? У родителей нет ни одного шкафчика, который бы запирался. Я хожу во второй класс и хочу писать псалмы, потому что они красивее всего, что мне только встречалось. В первый день в школе мы поем: Благодарим, Господь, мы так хорошо спали. И как только мы приближаемся к «теперь мы резвые, как птицы, бодрые, как рыбы в море, утреннее солнце светит в окно», это делает меня такой счастливой и так сильно трогает, что я заливаюсь слезами, над чем все дети смеются точно так же, как мама с Эдвином, когда моя «странность» вызывает у меня слезы. Они считают меня бесконечно и невероятно смешной, эти мои одноклассники, и я привыкла к роли клоуна и даже нахожу в ней какой-то печальное утешение, потому что вместе с моей подтвержденной глупостью она защищает меня от их причудливых злых нападков на любого, кто хоть чем-то выделяется.

Тень выползает из арки дома, словно крыса из норы. Даже в темноте я вижу, что это извращенец. Убедившись, что путь свободен, он натягивает шляпу на самый лоб и бежит к писсуару, оставляя дверь за собой приоткрытой. Я не

различаю, что там внутри, но знаю, что он задумал. Прошли те времена, когда он меня пугал, но мама боится его до сих пор. Недавно она отвела меня в полицейский участок на Свеннсгаде и с возмущением и злостью выговаривала служащему, что женщины и дети в доме не могут спокойно жить из-за мерзостей извращенца. Он уже до смерти напугал мою маленькую дочь, добавила она. Полицейский спросил меня, обнажался ли извращенец, и я с полной убежденностью ответила: нет. Это слово мне встречалось только в строке «поэтому мы обнажаем головы, увидев развевающийся флаг». Шляпу он и правда никогда не снимал. Когда мы вернулись домой, мама сказала отцу: полиция не собирается ничего предпринимать. Скоро в стране не останется ни закона, ни порядка.

Ворота открываются на своих скрипучих петлях, и смех, песни и клятвы нарушают священную тишину в комнате и внутри меня. Я вытягиваю шею, чтобы получше рассмотреть, кто пришел. Это Рапунцель, а с ней — ее отец и Дровосек, один из его завязтых собутыльников. Девушка идет между двумя мужчинами, каждый одной рукой обнимает ее за шею. Золотые волосы Рапунцель сияют, словно отражая свет невидимого уличного фонаря. Компания с шумом проходит, шатаясь, через весь двор, и немного погодя я слышу их крики с лестницы. Рапунцель зовут Гердой, и она почти взрослая, ей не меньше тринадцати. Прошлым летом, когда она помогала Чесотке-Хансу и Лили-Красотке присматривать за детьми в их цыганской кибитке, моя мама сказала: наверняка Герде от этой поездки перепало побольше, чем просто чесотка. О чем-то подобном поговаривали и старшеклассницы во дворе у мусорных баков, неподалеку от которых я часто околачиваюсь. Они перешептывались и хихикали, и я понимала только одно: это нечто неприличное, гадкое и скользкое, нечто, связанное с Чесоткой-Хансом и Рапунцель. Я набралась смелости и спросила у мамы, что же на самом деле произошло с Гердой. Сердито и нетерпеливо мама ответила: ну ты и дурочка, невинность она потеряла — вот и всё! Умнее от этого я не стала.

Я смотрю на безоблачное шелковое небо и открываю окно, чтобы наконец-то оказаться поближе к нему. Кажется, что Бог медленно опускает свое мягкое лицо над землей и его безграничное сердце бьется неспешно и приглушенно совсем рядом со мной. Я чувствую себя такой счастливой, и длинные грустные строфы тянутся сквозь мое сознание. Они отделяют меня, не по моей воле, от тех, кто должен быть мне близок. Родителям не нравится, что я верю в Бога, как не одобряют они и язык, что я использую. Меня же отталкивает их манера говорить: они выбирают одни и те же грубые и пошлые слова и выражения, значение которых никогда не охватывает того, что они хотят сказать. Почти любое обращение мамы ко мне начинается с «не дай тебе бог не...». Отец прокликает Бога на ютландском диалекте, что, пожалуй, звучит менее грозно, но ничуть не приятнее на слух. В сочельник мы водим хоровод вокруг елки под боевые песни социал-демократов, и сердце мое ноет от страха и стыда, потому что отовсюду доносятся упоительные псалмы, даже из квартир, где живут самые пьющие и неверующие. Нужно почитать отца и мать своих, и я твержу себе, что почитаю их, но сейчас это дается мне всё тяжелее, чем когда я была маленькой.

Мелкий холодный дождь касается лица, и я закрываю окно. Но в отдалении по-прежнему слышен приглушенный звук открывающихся и закрывающихся ворот. По двору семенит миловидное создание, словно удерживаемое хрупким прозрачным зонтом. Это Кэтти, неземной красоты женщина из соседней квартиры. У нее серебряные туфли на высоких каблуках под подолом длинного желтого шелкового платья. Сверху накинут белый мех, и она напоминает Белоснежку. Волосы у Кэтти черные как смоль. Через мгновение арка поглощает ее прекрасный образ, что вечер за вечером радует мое сердце. Каждый день в это время Кэтти уходит гулять, что мой отец считает непозволительным проделывать при детях, но я не понимаю, о чем он. Моя мама никак не реагирует, потому что днем часто пьет кофе или горячий шоколад у Кэтти в гостинной. Это замечательная комната, где вся мебель обита

красным плюшем. Абажуры ламп тоже красные, и цвета самой Кэтти — смесь белого и красного, как и у моей мамы, хотя Кэтти моложе. Вместе они много смеются, и я много смеюсь вслед за ними, хотя и редко понимаю, над чем. Но как только Кэтти обращается ко мне, мама сразу же отправляет меня домой, потому что ей это не нравится. То же самое с тетей Розалией — а она любит со мной поговорить. Женщины, у которых нет своих детей, считает мама, слишком заняты чужими. После она укоряет Кэтти, потому что та позволяет своей матери жить в той неотопливаемой комнате, выходящей окнами во двор, и никогда не разрешает ей появляться в гостиной. Мать Кэтти зовут фру Андерсен, но, как утверждает моя мама, это наглая ложь, потому что «фру» никогда не была замужем. А рожать в подобном положении — большой грех, это мне хорошо известно, и когда я спрашиваю маму, почему Кэтти так плохо обращается со своей матерью, она объясняет: всё потому, что та утаивает от Кэтти, кто ее отец. Когда думаешь о таких ужасных вещах, остается только радоваться, что по крайней мере в твоей семье всё нормально.

Когда Кэтти исчезает, дверь мужского туалета осторожно открывается и извращенец боком, словно краб, скользит вдоль стены парадного дома и исчезает в воротах. Я совсем про него забыла.

Детство — оно длинное и тесное, как гроб, и без посторонней помощи из него не выбраться. Оно всегда у всех на виду, словно заячья губа Людвиг-Кравчика. Он уродлив не меньше, чем Лили-Красотка, — сложно представить себе, что у нее когда-то была мама. Всё уродливое или несчастное принято называть красивым — никто не знает, по какой причине. Из детства не вырваться, оно липнет к тебе, будто запах. Он исходит и от других детей, и у каждого детства он свой, особенный. Но собственного запаха не замечаешь, и иногда становится страшно, что у тебя он хуже, чем у других. Стоишь, разговариваешь с другой девочкой, от детства которой тянет копотью и углем, а она неожиданно отходит в сторону, потому что почувствовала страшную вонь твоего детства. Незаметно наблюдаешь за взрослыми, чье детство затаилось внутри, драное и дырявое, словно проеденный молью половик, о которым все позабыли и больше им не пользуются. По ним не скажешь, что у них вообще было детство, и не решаешься спросить, как им удалось вырваться из него без глубоких шрамов и отметин на лице. Впору заподозрить, что они воспользовались потайным ходом и облачились во взрослую форму многими годами раньше. Это случилось в день, когда они остались дома одни, а детство стягивало их сердца тремя стальными обручами, как у Железного Ганса в сказке братьев Гримм, и обручи эти лопались, только когда Гансова хозяйина освобождали. Но, не зная об этой хитрости, приходится терпеть детство и пробиваться через него час за часом на протяжении бесчисленного числа лет. Только смерть может освободить от него, и поэтому о ней много думаешь и представляешь ее себе добрым ангелом в белых одеяниях, который однажды ночью поцелует твои веки — и те уже никогда не поднимутся. Я всегда считала, что, когда стану взрослой, мама наконец-то меня полюбит столь же сильно, как Эдвина. Всё потому, что мое детство раздражает ее не меньше, чем меня, и мы счастливы

вместе, только когда она случайно забывает о его существовании. И тогда она разговаривает со мной, как со своими подругами или тетей Розалией, а я слежу, чтобы мои ответы были короткими и мама случайно не вспомнила, что я всего лишь ребенок. Я отпускаю ее руку и держусь от нее на расстоянии, чтобы она не учуяла запах моего детства. Это случается почти всегда, когда мы идем за покупками на Истедгаде. Она рассказывает, как наслаждалась жизнью, когда была молодой девушкой. По вечерам она ходила на танцы и не стояла там ни минуты. Каждый вечер у меня был новый ухажер, говорит мама с громким смехом, но всё закончилось, когда я познакомилась с Дитлевым. Это мой отец — обычно она всегда называет его «отцом», а тот зовет ее «мать» или «матушка». У меня есть ощущение, что когда-то она была другой и счастливой, но встреча с Дитлевым всё оборвала. Когда мама говорит о нем, он кажется совсем иным человеком, темным духом, разрушающим и уничтожающим всё красивое, и светлое, и веселое. Как бы я желала, чтобы этот Дитлев никогда не появлялся в ее жизни. Дойдя до его имени, мама обычно замечает мое детство и смотрит на него так гневно и грозно, что темный ободок вокруг ее голубой радужной оболочки становится еще темнее. Детство дрожит от страха и тщетно пытается проскользнуть незамеченным на цыпочках, но оно еще слишком маленькое, и забыть о нем можно будет лишь через сотни лет.

Люди с таким возмутительно заметным что изнутри, что снаружи детством называются детьми, и с ними можно обращаться как угодно, потому что их нечего бояться. У них нет ни оружия, ни маски, если только они не хитроумны. Я — одна из таких хитроумных, а маской мне служит глупость, и я постоянно настороже, чтобы никто ее с меня не сорвал. Я слегка приоткрываю рот и позволяю пустоте заволочь взгляд, словно всегда пялюсь в воздух. Как только внутри меня начинает петь, я усердно слежу, чтобы моя маска нигде не порвалась. Взрослые, ни один из них, не выносят песен в моем сердце и гирлянд слов в моей душе, но знают об их существовании, потому что те

по чуть-чуть просачиваются из меня по сокровенному, неизвестному даже мне каналу, который я не могу перекрыть. Ты себе не воображаешь? — спрашивают они с подозрением, и я уверяю, что мне и в голову не придет воображать что-то. А в школе взрослые спрашивают: о чем ты думаешь? Повтори последнее предложение, которое я произнесла. Но на самом деле им никогда не удастся раскусить меня. На это способны только дети во дворе или на улице. Ты притворяешься тупой, угрожающе говорит девочка постарше и подходит ко мне очень близко, но ты совсем не такая. Она устраивает мне допрос, и много других девочек в тишине собираются возле меня и образуют круг, через который мне не пробиться, пока я не докажу свою тупость. В конце концов после всех моих идиотских ответов они убеждаются, и тогда в круге появляется небольшой просвет — в самый раз, чтобы рвануться и спастись. Нечего прикидываться тем, кем ты на самом деле не являешься, кричит мне вслед одна из них, нравоучительно и предостерегающе.

Детство — оно темное и постоянно стонет, как маленькое животное, запертое в подвале и всеми забытое. Оно вырывается из горла, словно дыхание на морозном воздухе, иногда оно слишком слабое, а иногда — слишком сильное. Детство никогда не бывает впору. Только когда оно отпадет, как мертвая кожа, о нем можно спокойно рассуждать и говорить будто о пережитой болезни. Большинство взрослых считают, что у них было счастливое детство и, может быть, даже сами в это верят, но только не я. Думаю, что им просто посчастливилось его забыть. У моей мамы не было счастливого детства, и в ней это не настолько глубоко запрято, как в других людях. Она рассказывает, как отвратительно было, когда у ее отца начиналась белая горячка, а им всем приходилось стоять, подпирая стены, чтобы те на него не рухнули. Когда я признаюсь, что мне его жаль, мама кричит в ответ: жаль! Да он сам виноват, пьяная свинья. Выпивал целую бутылку шнапса в день, и, несмотря ни на что, нам стало легче, когда он наконец-то взял себя в руки и повесился. И добавляет:

он убил моих пятерых маленьких братьев. Вынул из колыбели и разбил им головы о стену. Однажды я спросила тетю Розалию, мамину сестру, правда ли это, и та ответила: конечно нет. Братья просто умерли. Наш отец был несчастным человеком, твоей матери было всего четыре года, когда его не стало. Она унаследовала бабушкину ненависть к нему. Бабуля — это их мама, и хотя сейчас она очень старая, я могу себе представить, что в ее душе таится много ненависти. Бабуля живет на острове Амагер⁴. Она вся седая и носит только черное. Как и родителям, мне разрешено обращаться к ней только в третьем лице, что очень усложняет все разговоры и наполняет их постоянными повторами. Она крестит хлеб, прежде чем его нарезать, а когда стрижет ногти, сжигает потом обрезки в печи. Я спрашиваю ее, почему она так делает, но Бабуля и сама не знает. Так поступала еще ее мама. Как и все взрослые, она не любит вопросов детей и отвечает кратко. Куда бы ты ни повернулся, наталкиваешься на свое детство и ударяешься о него, так как оно угловатое и твердое и прекращается, только когда полностью разорвет тебя на кусочки. Похоже, у каждого свое детство, и у всех оно очень разное. Детство моего брата, например, шумное, в то время как мое — тихое, незаметное и осторожное. Оно никому не нравится, и пользы от него никакой. Внезапно мое детство становится слишком длинным, и я могу смотреть маме в глаза, когда мы обе стоим. Человек растет во сне, говорит она. Поэтому я стараюсь подолгу не засыпать по вечерам, но сон берет надо мной верх, а утром я с волнением смотрю на свои ноги, и у меня начинает кружиться голова, потому что расстояние до них сильно увеличилось. Дылда, кричат мне вслед уличные мальчишки, и если так пойдет дальше, однажды мне придется отправиться в Стормогул⁵, где растут великаны. Теперь детство причиняет боль. Это принято называть болезнью роста, и она пройдет только в двадцать лет. Так говорит Эдвин, который знает обо всем — и о мире, и об обществе тоже, — в точности как мой отец, который берет сына с собой на политические заседания, хотя

мама считает: кончится тем, что обоих заберут в полицию. Они не слушают, когда она говорит подобные вещи, потому что, как и я, она мало разбирается в политике. Кроме того, мама уверена, что отец не может устроиться на работу, потому что он социалист и состоит в профсоюзе, а Стаунинг, портрет которого отец повесил на стене рядом с женой рыбака, однажды доведет нас до беды. Мне нравится Стаунинг, я много раз видела и слушала его в Фелледпарке. Нравится, потому что его длинная борода так весело треплется на ветру и рабочих он называет «камрады», хотя сам он — премьер-министр и может позволить себе немного высокомерия. Что же касается политики, мне кажется, что мама ошибается, но мнение девочек по таким вопросам никого не интересует.

Однажды мое детство запахло кровью, и мне пришлось ощутить и осознать это. Теперь ты можешь иметь детей, сказала мама, только что-то рановато — тебе и тринадцати не исполнилось. Мне прекрасно известно, откуда берутся дети, — трудно об этом не узнать, ведь я сплю в одной комнате с родителями. Но даже так я понимаю не всё и думаю, что в любой момент могу проснуться с маленьким ребенком под боком. Я назову ее малышка Мария, потому что это обязательно будет девочка. Мне не нравятся мальчики, и играть с ними не разрешается. Я люблю одного Эдвина, только им и восхищаюсь, и если и выходить замуж, то за него. Но брат жениться на мне не сможет — это запрещено, и, даже если бы и мог, не захотел бы. Он это часто повторяет. Все люди обожают моего брата, и я часто думаю, что его детство лучше подходит ему, чем мое — мне. Детство Эдвина изготовили для него по заказу, оно гармонично растет вместе с ним, а мое сделали для совсем другой девочки, которой оно пришлось бы в самый раз. В моменты таких раздумий моя маска выглядит еще глупее, ведь рассказывать о таких вещах никому нельзя, и я всегда мечтаю встретить необыкновенного человека, который меня услышит и поймет. Я знаю из книг, что такие люди на свете есть, но их не сыскать на улице моего детства.

Улица моего детства — Истедгаде, ее ритм всегда будет биться в моих венах, ее голос навеки останется неизменным рядом со мной, как в те далекие времена, когда мы поклялись друг другу в верности. Она всегда теплая и светлая, праздничная и волнующая и окутывает меня всю, словно создана для удовлетворения моей личной потребности в самовыражении. По ней я гуляла, держась за руку мамы, и здесь узнавала важные вещи, например, что одно яйцо у Ирмы стоит шесть эре, а фунт маргарина — сорок три, а фунт конины — пятьдесят восемь. Из-за всего, кроме еды, моя мама торгуется так яростно, что продавцы в отчаянии ломают руки и уверяют, что она доведет их до полного банкротства, если будет продолжать. Ей хватает дерзости обменять отцовскую ношеную сорочку на совершенно новую. Она может войти в магазин и с хвоста очереди пронзительно крикнуть: а ну-ка, хватит, теперь я, и так уже долго тут жду. Мне весело с ней, и я восхищаюсь ее копенгагенской бойкостью и смекалкой. Безработные околачиваются на улице возле небольших кафе. Они свистят в два пальца вслед моей маме, но та не обращает на них внимания. Могли бы и дома побыть, как твой отец, говорит она. Но так больно видеть его бесцельно сидящим на диване в любое свободное от поисков работы время. В одном журнале я вычитала строчку: «сиди и пялься на два кулака, что Господь сотворил так умело». Это стихотворение о безработных, и оно напоминает мне об отце.

Только после знакомства с Рут Истедгаде стала для меня местом для игр, где можно было болтаться после школы до самого ужина. Мне тогда исполнилось девять лет, а Рут — семь. Наши взгляды встречаются одним воскресным утром, когда всех детей выгоняют из дома поиграть на улицу, чтобы родители выспались после изнурительной или тоскливой недели. Как обычно, девочки постарше сплетничают в углу у мусорных баков, а те, что помладше, играют в классики,

в которых я вечно всё порчу: то наступаю на линию, то задеваю землю свободной, болтающейся в воздухе ногой. Я так и не понимаю, в чем суть игры, и считаю ее ужасно скучной. Когда мне говорят, что я вышла, я покорно прижимаюсь к стене. Быстрые шаги скатываются по черной лестнице парадного дома, ведущей во двор, и появляется маленькая девочка с рыжими волосами, зелеными глазами и светло-коричневыми веснушками на переносице. Привет, говорит она мне, расплывшись в улыбке от уха до уха, меня зовут Рут. Я смущенно и неловко представляюсь — непривычно, чтобы новенькие выходили так лихо. Все пристально смотрят на Рут, которая словно не замечает этого. Давай удерем отсюда и купим конфет, обращается она ко мне, и бросив неуверенный взгляд на наше окно, я иду — и буду следовать за ней еще много лет, пока мы обе не выпустимся из школы и глубокие различия между нами не станут заметными.

Теперь у меня есть подружка, и я становлюсь менее зависимой от мамы, которой, разумеется, Рут не нравится. Она приемыш, из таких никогда не выходит ничего путного, мрачно говорит мама, но всё же не запрещает с ней играть. Родители ее — пара огромных уродливых людей, которым бы никогда в жизни не удалось сотворить что-то столь же прелестное, как Рут. Отец работает официантом и пьет как сапожник. Мать страдает от ожирения и астмы и лупит дочь по любому поводу. Но Рут на это наплевать. Она вырывается из ее когтей, грохочет вниз по черной лестнице, улыбается, показывая всем блестящие белые зубы, и весело произносит: да пошла ты, чертова сучка. Когда Рут ругается, это не страшно и не унижительно, потому что ее голос свеж и тонок, как у самого младшего козлика из сказки, рот с узкой вздернутой верхней губой алеет и изогнут сердечком, а взгляд тверд, словно у людей, не знающих страха. В ней есть то, чего нет во мне, и я делаю всё, что она мне прикажет. Нам обеим не интересны обыкновенные игры. К своей кукле она и не притрагивается, а кукольную коляску использует как трамплин, положив на нее сверху доску. Нам нечасто удается это проделать, потому что на нас набрасывается

хозяйка дома или призывают к порядку наши бдительные матери, которым слишком хорошо видно нас из окна. Только на Истедгаде мы остаемся без присмотра, и отсюда начинается мой преступный путь. Рут мило и добродушно принимает факт, что я не готова воровать. Так что мне приходится отвлекать продавщицу от маленькой шустрой фигурки Рут, которая без разбора тащит всё подряд, пока я спрашиваю, когда у них появится жевательная резинка. Мы заходим в ближайший подъезд и делим добычу. Иногда мы отправляемся в магазин и бесконечно долго примеряем обувь и одежду. Мы выбираем самое дорогое и спрашиваем, не будут ли они столь любезны отложить вещи, ведь наши мамы придут расплатиться. Не успев выйти за дверь, мы булькаем от распирающего нас радостного хихиканья.

На протяжении всей нашей дружбы я боюсь, что Рут меня разоблачит. Я боюсь, что она обнаружит, какая я на самом деле. Я всего лишь ее эхо, потому что очень люблю ее и она сильнее меня, хотя глубоко внутри я остаюсь сама собой. Мои мечты о будущем простираются за пределы улицы, но Рут срослась с Истедгаде настолько, что никогда от нее не оторвется. Я чувствую, что предаю подругу, притворяясь, будто мы одной крови. Я перед ней в неведомом долгу, и он вместе с чувством страха и смутным ощущением вины обременяет сердце и окрашивает наши отношения точно так же, как потом — все другие длительные связи в моей жизни.

Мелкое воровство неожиданно прекращается. Однажды Рут проворачивает операцию, спрятав под пальто целую банку апельсинового джема, которым мы потом угощаемся до колик в животе. Наевшись до отвала, мы выбрасываем остатки в мусорный бак, переполненный настолько, что крышка не закрывается. Тогда мы запрыгиваем сверху и садимся на нее. Неожиданно Рут говорит: не понимаю, почему это всегда приходится делать мне. Вору потакать — что самому воровать, отвечаю я в ужасе. Да, но хоть изредка ты могла бы, бурчит в ответ Рут. Я считаю ее претензию справедливой и неловко обещаю украсть что-нибудь в следующий раз, но настаиваю:

место непременно должно быть подальше отсюда, поэтому я выбираю молочный магазин на Сендер Бульваре, который выглядит подходяще пустым. Рут осторожно закрывает дверь и заходит внутрь в сопровождении своей вытянутой тени, которая вполне могла бы оказаться ее собственной дремлющей совестью. В магазине никого, и на двери в подсобку окошка нет. На прилавке стоит чаша, полная шоколадных батончиков в красной и зеленой фольге, по двадцать пять эре за штуку. Я не свожу с них глаз, побледнев от напряжения и страха, и уже заносу было руку, как некая невидимая сила тянет ее обратно. Меня трясет до самых кончиков ног. Поторапливайся, шепчет Рут, которая следит за подсобным помещением. Я запускаю руку, которая просто не может красть, прямо в чашу, хватаю несколько красных и зеленых шоколадок — те пляшут у меня перед глазами — и опрокидываю всю грудку за прилавок. Дура, шипит Рут и бросается прочь, но в тот же миг дверь подсобки отворяется. Седая женщина стремительно выходит оттуда и замирает от удивления, увидев меня, застывшую словно соляной столп, с одной шоколадкой в поднятой вверх руке. Что всё это значит? — спрашивает она. Что ты тут делаешь? Смотри, чаша разбилась! Она наклоняется и собирает осколки, а я не знаю, за что хвататься, ведь мир вокруг меня не обрушился. Мне бы хотелось, чтобы это случилось здесь, на этом самом месте. Я чувствую только нескончаемый жгучий стыд. Напряжение и предвкушение приключения испарились, и я — обычная воровка, застигнутая на месте преступления. Хоть бы извинилась, упрекает женщина, уходя с осколками стеклянной чаши. Недотепа ты такая.

В самом конце улицы Энгхавевой стоит Рут и хохочет до слез. Ну и жалкая же ты дура, выпаливает она. Она что-нибудь сказала? Почему ты оттуда не удрала? Эй, у тебя еще остался шоколад? Пойдем в парк и съедим. Ты серьезно хочешь его съесть? — спрашиваю я в недоумении. Я считаю, нам лучше выбросить его под дерево. Ты рехнулась? — удивляется Рут. Это же отличная шоколадка! Да, но, Рут, отвечаю я, мы больше этого никогда не будем делать, правда? Тогда моя маленькая

подружка интересуется, уж не превратилась ли я в святую, и в парке лопают сладости прямо у меня на глазах. После этого наши налеты прекращаются. Рут не хочется действовать в одиночку. Теперь, когда мама отправляет меня в город, я всегда вваливаюсь в магазин с чрезмерным шумом. Если же продавщица мешкает и не выходит, я держусь подальше от прилавка, уставившись в потолок. А когда она появляется, щеки у меня всё равно заливаются краской, и я еле удерживаюсь от того, чтобы вывернуть перед ней карманы и доказать: они не набиты ворованным товаром. С этой историей моя вина перед Рут только крепнет, и я начинаю бояться потерять нашу драгоценную дружбу. Поэтому я веду себя еще смелее в других запрещенных играх, например стараюсь последней перебежать через рельсы перед поездом под виадуком на Энгхавевай. Иногда поток воздуха от локомотива опрокидывает меня, и я долго, задыхаясь, лежу на травянистом склоне. Наградой для меня звучат слова Рут: ну слава богу, а я-то думала, что ты копыта откинула.

За окном осень, сильный ветер треплет вывеску мясной лавки. Деревья на Энгхавевой растеряли почти все листья, устлав землю красно-коричневым и желтым ковром, напоминающим волосы моей мамы, когда в них играет солнце и неожиданно замечаешь, что они не совсем черные. Безработные мерзнут, но всё равно стоят, выпрямившись, с потухшими трубками в зубах и прячут руки глубоко в карманах. Фонари только что зажгли, и то здесь, то там между мчащимися мятежными тучами выглядывает луна. Я всегда считала, что между луной и улицей существует какое-то таинственное взаимопонимание, словно между двумя сестрами, выросшими вместе и способными общаться без всяких слов. Мы идем сквозь спускающиеся сумерки, Рут и я; скоро нам придется свернуть с улицы, поэтому мы одержимы мыслью: что-нибудь должно произойти, пока день не кончился. Стоит нам только дойти до Гасверксвай, где мы обычно поворачиваем обратно, как Рут говорит: давай сбегает посмотреть на шлюх, некоторые уже наверняка вышли на работу. Шлюха — женщина, которая делает это за деньги, что для меня гораздо понятнее, чем заниматься этим бесплатно. Рут поведала мне обо всем, но само слово кажется мне таким безобразным, и в книге я нашла другое: ночная бабочка. Оно звучит приятнее и романтичнее. Рут всегда рассказывает мне о подобных вещах, от нее у взрослых нет секретов. Она рассказала мне и о Чесотке-Хансе с Рапунцель, и я недоумеваю, потому что Чесотка-Ханс кажется мне таким старым. К тому же у него же есть Лили-Красотка. Интересно, может ли мужчина любить двух женщин одновременно? Для меня мир взрослых остается полной загадкой. Истедгаде всегда представляется мне красавицей, что лежит на спине и волосы ее струятся к Энгхавепладс. Гасверксвай проводит границу между добропорядочными и порочными людьми, раздвинув ноги, по которым, словно веснушки, рассыпались гостеприимные отели и залитые светом шумные пивнушки, куда ночью

отправится полиция — забрать своих возмутительно пьяных, задиристых жертв. Я знаю об этом от Эдвина, который на четыре года старше меня и может гулять до десяти вечера. Я с восхищением смотрю на него, когда он возвращается домой в голубой рубашке DUI, Движения юношеского спорта, и беседует о политике с отцом. В последнее время они крайне взбудоражены из-за Сакко и Ванцетти, чьи портреты смотрят с плакатов и газет. Их смуглые необычные лица кажутся такими красивыми, и мне жаль, что их казнят за то, чего они не делали. Но я не могу расстраиваться из-за них столь же сильно, как отец, который орет и стучит по столу, обсуждая это дело с дядей Питером. Дядя — социал-демократ, как отец и Эдвин, но при этом считает, что Сакко и Ванцетти не заслужили лучшей участи, ведь они анархисты. Мне не важно, кричит отец в бешенстве и колотит по столешнице ладонью. Судебная ошибка — это судебная ошибка, даже если она касается консерватора! Я знаю, что это самое ужасное, кем может стать человек. Недавно я спросила, могу ли я вступить в «Клуб Пинга»⁶, ведь туда вошли уже все девочки в нашем классе, а отец, стиснув зубы, бросил на маму такой взгляд, словно я была жертвой ее пагубного влияния в политических вопросах, и произнес: вот видишь, матушка, теперь она будет реакционеркой. Кончится тем, что в нашем доме появится «Берлинске Тиденде»!

Рядом с вокзалом жизнь идет полным ходом. Пьяницы шатаются по округе, обнимая собутыльников за плечи и напевая, а из кафе «Чарльз» выкатывается толстяк, чья лысая голова несколько раз ударяется об асфальт, прежде чем он расплывается у нас под ногами. Двое полицейских подходят и настойчивыми пинками отгоняют его в сторону, отчего тот поднимается с жалобным воем. Они грубо ставят толстяка на ноги и оттесняют от двери, как только он пытается вернуться в логово зла. Когда полицейские спускаются по улице, Рут, сунув пальцы в рот, посылает им вслед длинный свист — талант, которому я так завидую. На Хельголаннсгаде собралась орава

смеющихся шумящих детей, и, подойдя поближе, я замечаю, что посреди проезжей части стоит Чарльз-Кудряшка и отправляет в рот еще теплый лошадиный помет. При этом он напевает отчаянно непристойную песню, от которой толпа визжит и подбадривает его криками в надежде, что он позабавит их еще больше. Его глаза дико вращаются. Мне он кажется несчастным и пугающим, но из-за Рут я притворяюсь, что мне весело, потому что она надрывается со смеху вместе с остальными. Что касается шлюх, нам попадаются только несколько старых, толстых дам, их зады неистово раскачиваются на ходу — видимо, в тщетной попытке привлечь внимание публики, медленно проезжающей мимо. Это меня сильно разочаровывает — я считала, что все они выглядят как Кэтти, чьи вечерние дела в городе Рут мне тоже растолковала. На пути домой мы проходим по Ревальсгаде, где однажды была убита пожилая торговка сигарами, останавливаемся перед жутким домом на Маттеусгаде и пялимся на окно третьего этажа, где в прошлом году Красный Карл, работавший кочегаром вместе с моим отцом в мастерских Эрстед, убил маленькую девочку. По вечерам никто из нас не решался пройти в одиночку мимо этого дома. Дома под аркой Герда и Дровосек стоят в таком тесном объятии, что в темноте их фигуры не отличимы одна от другой. Я задерживаю дыхание, пока не дохожу до двора, потому что в арке всегда разит мочой и пивом. Что-то щемит в груди, пока я поднимаюсь по лестнице. Изнанка моего пола всё больше и больше заглатывает меня, и всё труднее скрывать это под ненаписанными, дрожащими словами, которые постоянно нашептывает сердце. Когда я прохожу мимо квартиры Герды, рядом бесшумно приоткрывается дверь и фру Пульсен жестом зовет меня внутрь. Как утверждает мама, фру Пульсен — «нищая аристократка», но я знаю, что нельзя быть одновременно и нищей, и аристократкой. У нее есть квартирант, которого мама насмешливо называет «красавцем герцогом», хотя он почтальон и обеспечивает фру Пульсен, как будто они женаты. Но детей у них нет. Я знаю от Рут, что они живут вместе как муж

с женой. Я нерешительно отвечаю на приглашение и вхожу в гостиную — она точь-в-точь как наша, разве что здесь есть пианино, у которого изрядно недостает клавиш. Я устраиваюсь на самом краешке стула, а фру Пульсен сидит на диване, и в ее глазах цвета морской волны плещется любопытство. Скажи-ка мне, Тове, говорит она заискивающе, тебе известно, много ли мужчин приходит к фрекен Андерсен? В то же мгновение мой взгляд становится пустым и тупым, а нижняя челюсть слегка отвисает. Не-а, отвечаю я с притворным изумлением, я так не думаю. Но ведь вы с мамой часто там бываете, подумай хорошенько. Ты когда-нибудь замечала у нее каких-либо джентльменов? Может быть, по вечерам? Нет, вру я в страхе. Меня пугает эта женщина, которая так или иначе желает причинить Кэтти зло. Мне мама запретила навещать Кэтти, а сама ходит к ней, только когда отца нет поблизости. Фру Пульсен ничего не удается у меня выведать, и она отпускает меня не без прохлады. Через несколько дней по нашему дому ходят списки, из-за которых мои родители ссорятся, считая, что я уже сплю. Я подпишу, говорит отец, ради детей — так они хотя бы не будут видеть всякого свинства. Это всё старые суки, неистово твердит мама, завидуют ей, потому что она молодая, красивая и счастливая. Меня они тоже терпеть не могут. Прекрати сравнивать себя со шлюхой, сердито ворчит отец. Хотя у меня и нет постоянного места, тебе не приходится зарабатывать на жизнь самой — не забывай! Слышать это ужасно, кажется, что они ссорятся из-за чего-то совсем другого, для чего не находят слов. Вскоре наступает день, когда Кэтти и ее мать сидят на улице на своей плюшевой мебели, которую охраняет полицейский, прохаживаясь взад-вперед. Кэтти с презрением смотрит сквозь людей и держит в руках изысканный зонт, прячась от дождя. Она улыбается мне и говорит: прощай, Тове, пусть у тебя всё будет хорошо. Немного погодя они уезжают в грузовом фургоне, и я уже никогда их не увижу.

В нашей семье случилось нечто ужасное. Обанкротился «Ландмандсбанк», и Бабуля потеряла все свои сбережения. Пятьсот крон. Откладывала их всю жизнь. Это грязное дело, от которого пострадали только мелкие вкладчики. Богатые свиньи, говорит мой отец, сделают всё, чтобы получить свои деньги обратно. Бабуля жалобно плачет и вытирает покрасневшие глаза белоснежным носовым платком. У нее всегда всё чистое, аккуратное, опрятное, и пахнет от нее стиркой и прачечной. Деньги должны были пойти на ее похороны, о которых она, кажется, думает постоянно. Она платит взносы в похоронный союз и никогда не забывает, как я когда-то думала, что это и есть гроб. Одно воспоминание об этом до сих пор вызывает у нее смех. Я очень люблю Бабулю — совсем иначе, без страха, который вызывает у меня мама. Мне разрешено навещать бабушку одной — так она того желает, и мама не смеет противиться ее воле. Мама рассказывала, что Бабуля очень разозлилась, когда та забеременела мной, ведь у мамы уже был сын и не имелось никаких причин заводить еще одного ребенка. Теперь Бабуля не знает, как ей организовать благопристойные похороны, ведь у нас денег нет, никаких, и тем более их нет у тети Розалии с ее пьяницей-мужем. Хотя дядя Питер определенно богат, он известен своей скупостью, и остается только мечтать, что он даст хоть что-то на похороны тещи. Бабуле семьдесят три года, и она считает, что ей недолго осталось. Она ниже моей мамы, хрупкая, как ребенок, и всегда одета в черное с головы до ног. Белые, мягкие как шелк волосы заколоты шпильками, а двигается она шустро, словно молодая девушка. Бабуля живет только на пенсию в однокомнатной квартире. Когда я прихожу к ней в гости, к кофе она подает ржаной хлеб с настоящим маслом, которое я соскребаю зубами, подталкивая его к самому краю, к последнему кусочку, — его восхитительный вкус не похож ни на что из того, что я ем дома. С тех пор как Эдвин

пошел в ученики, он навещает ее каждое воскресенье. Бабуля дарит ему целую крону, ведь он единственный мальчик в семье. Мне и моим трем кузинам не достается ничего. Каждый раз, когда я прихожу к Бабуле, она просит что-нибудь ей спеть, чтобы проверить, стала ли я меньше фальшивить с прошлого раза. Почти чисто, говорит она одобрительно, но я и сама понимаю, что звуки, вырывающиеся из меня, совсем не похожи на те, которые мне хотелось бы слышать. К ней нельзя обращаться без разрешения, но сама она любит рассказывать, а я с удовольствием слушаю. Бабуля вспоминает о своем детстве, которое было ужасным, потому что она жила с мачехой, которая была ее до полусмерти из-за любого пустяка. Потом она стала служанкой и обручилась с моим дедушкой, которого звали Мундус, — работал он каретных дел мастером, пока не начал сильно пить. В доме его прозвали Пьянчугой-ревуном, и, когда он повесился, Бабуле пришлось устроиться прачкой, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. Но мои три девочки хорошо устроились в жизни, произносит она с понятной гордостью. Однажды я вскользь замечаю, что хотела бы знать дедушку, на что бабушка отвечает: до последних своих дней он оставался красавцем, но был бессердечным подлецом! Если бы я только пожелала, я бы тебе кое-что рассказала... Она крепко сжимает губы над беззубыми деснами и не хочет больше ничего говорить. Я думаю над словом «бессердечный» и волнуюсь, что похожа на своего ужасного дедушку. У меня часто возникает навязчивое подозрение, что я не способна на любые чувства к кому бы то ни было — конечно, кроме Рут. Однажды в гостях у Бабули мне нужно спеть песню, и я объявляю: мы тут выучили в школе новую. Сидя на краешке кровати, я начинаю петь фальшивым и дрожащим голосом стихотворение собственного сочинения. Оно очень длинное и повествует о паре, которая — как в «Яльмаре и Хильде», «Йоргене и Хансине» и прочих маминых балладах — не может воссоединиться, и заканчивается менее трагично такими строками:

Любовь, богата и юна,

Их тысячами лент сплела.
Хотя их брачная постель
И посредине рва.

Когда я дохожу до этого места, Бабуля морщит лоб, поднимается и расправляет платье, словно оберегая себя от неприятного впечатления. Это некрасивая песня, Тове, строго произносит она, ты и в самом деле выучила ее в школе? Я с тяжелым сердцем подтверждаю, потому что ожидала услышать: как прекрасно, кто же это написал? Сначала нужно обвенчаться в церкви, уже мягче говорит бабушка, прежде чем иметь друг с другом дело, но тебе-то откуда это знать! Ах, Бабуля! Я знаю намного больше, чем ты думаешь, но впредь буду молчать. Я вспоминаю, как несколько лет назад с удивлением осознала, что мои родители поженились в феврале, а в апреле того же года на свет появился Эдвин. Я спросила маму, как это могло произойти, на что она резко ответила: видишь ли, обычно первенца вынашивают месяца два, не дольше. И она, и Эдвин тогда рассмеялись, а отец помрачнел. Это самое ужасное во взрослых: они ни за что не признаются, что хотя бы раз в жизни совершили ошибку или поступили опрометчиво. Они с легкостью осуждают других, но никогда не готовы вершить суд над собой.

Остальных родственников я навещаю только вместе с семьей или хотя бы с мамой. Тетя Розалия, как и Бабуля, живет на Амагере. Я заходила к ней всего несколько раз, потому что дядя Карл, прозванный Бездонной Бочкой, вечно сидит в гостиной, пьет пиво и брюзжит, а детям это видеть не положено. Гостиная такая же, как и все подобные комнаты: с буфетом вдоль одной стены, диваном у другой и столом между ними в окружении четырех стульев с высокими спинками. В буфете, как и у нас, — латунный поднос с кофейником, сахарницей и сливочником, которыми никогда не пользуются, хотя они и начищены до блеска для особых случаев. Тетя Розалия шьет для торгового дома «Магазин» и по пути домой часто заглядывает к нам. С собой у нее сверток из ткани

альпака, в котором лежит шитье, и даже в гостях она не выпускает его из рук. Она всегда забегает «только на минутку» и не снимает шляпу, как бы опровергая то, что просидит у нас несколько часов, пока, наконец, не уйдет. С мамой они всегда вспоминают случаи из их юности, и так я выясняю множество вещей, о которых мне не следовало бы знать. Например, однажды в своей комнате мама спрятала цирюльника в шкафу, потому что в гости нагрянул мой отец. Если бы маме не удалось быстро его выпроводить, цирюльник задохнулся бы. У них много подобных историй, над которыми они хохочут от души. Тетя Розалия старше мамы всего на два года, а тетя Агнете — на восемь, так что ей не довелось разделить юность с сестрами. Она с дядей Питером часто приходит к родителям поиграть в карты. Тетя Агнете набожна и страдает, когда при ней произносят бранные слова, что дядя часто делает, просто чтобы ее подразнить. Она высокая и крупная, и у нее на груди, которую ее муж называет балконом, висит крест Дагмар. Если послушать моих родителей, дядя Питер — само воплощение зла и коварства, но со мной он всегда дружелюбен, поэтому я не слишком им верю. Он плотник и никогда не сидит без работы. Они живут в трехкомнатной квартире в районе Остербро, там у них есть холодная гостиная с пианино, куда они заходят только на Рождество. Поговаривают, что дядя Питер унаследовал чудовищно огромную сумму, которую хранит на разных сберегательных книжках, чтобы одурачить налоговую службу. Иногда работников его фирмы приглашают посмотреть другие предприятия, где заодно бесплатно угощают. С ними он ездил на завод «Туборг», где выдул столько пива, что оказался в больнице и весь следующий день его откачивали, а в молочном цехе «Энигхед» он влил в себя столько молока, что потом болел восемь суток подряд. Теперь он не пьет ничего, кроме воды.

Все три мои кузины старше меня и довольно уродливы. Каждый вечер они усаживаются вокруг стола и безудержно вяжут; как считает мой отец, особым умом они не отличаются, и во всей их квартире не сыщешь и одной книги. Мои родители

не скрывают, что мы удались больше, чем эти девочки. Дядя Питер был женат и прежде, от первого брака у него есть дочка всего на семь или восемь лет младше моей мамы — могучая громадина по имени Эстер с виляющей походкой, от которой всё ее тело кренился вперед. Глаза ее, кажется, готовы вывалиться из орбит, и у нас в гостях она сюсюкает со мной как с маленьким ребенком и целует прямо в губы — отвратительнее этого ничего и быть не может. Она называет мою маму «голубушка» и выходит с ней по вечерам, к великому сожалению отца. Однажды они собираются на бал-маскарад в Народный дом, и пока они красятся, я держу перед ними зеркало и думаю, как восхитительно хороша мама в наряде Королевы ночи. На Эстер наряд ямщика восемнадцатого столетия, и ее руки торчат из пышных рукавов, словно тяжеленные крючья. Им надо поторапливаться, потому что скоро вернется отец. Мама стоит вся в черном тюле, усыпанном сотнями сияющих блесков. Они опадают так же легко, как и ее хрупкое счастье. Уже в дверях они сталкиваются с отцом, вернувшимся с работы. Он пристально вглядывается в лицо мамы и произносит: ха, старое ты пугало. Она не отвечает и вслед за Эстер безмолвно проскальзывает мимо. Отец знает, что я всё слышала, и подсаживается ко мне, в его добрых грустных глазах — неуверенность. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? — неловко спрашивает он. Королевой ночи, отвечаю я с обидой, потому что рядом именно тот «Дитлев», который всегда портит удовольствие моей маме.

Я перешла в среднюю школу, и мой мир начал расширяться. Родители позволили мне это сделать. Они подсчитали, что из школы я выпущусь в четырнадцать лет, не позже, и, раз уж они оплачивают образование Эдвина, я тоже не должна оставаться в тени. Тогда же мне разрешили посещать муниципальную библиотеку на Вальдемарсгаде, где есть детский отдел. Мама считает, что от взрослых книг я стану еще более странной, а отец, у которого на этот счет другое мнение, не говорит ничего — я теперь в маминой власти, и в важных вопросах он не решается идти против установившегося миропорядка. Впервые попав в библиотеку, я теряю дар речи при виде такого разнообразия книг, собранных в одном месте. Библиотекаршу детского отдела зовут Хельга Моллеруп, и ее хорошо знают и любят многие дети в нашем квартале: им разрешается сидеть в читальном зале до пяти часов, до самого закрытия, если в их домах нет тепла и света. Они делают домашнее задание или листают книги, и фрекен Моллеруп выгоняет их, только если они начинают шуметь, ведь в библиотеке, как и в церкви, должна стоять абсолютная тишина. Она спрашивает, сколько мне лет, и подбирает книги, которые, по ее мнению, подходят десятилетнему ребенку. Она высокая, стройная и симпатичная, с темными живыми глазами. Руки у нее большие и красивые, и я рассматриваю их не без уважения — поговаривают, что она может дать пощечину посильнее, чем иной мужчина. Она одета, как моя классная руководительница фрекен Клаусен, в довольно длинную прямую юбку и блузку с невысоким белым воротничком. Но в отличие от фрекен Клаусен она, кажется, не испытывает непреодолимого отвращения к детям, и даже совсем наоборот. Мне выделяют место за столом и кладут передо мной детскую книгу, название которой, как и имя автора, я, к счастью, забыла. Я читаю: «Отец, у Дианы появились щенки. С этими словами стройная девушка пятнадцати лет ворвалась в комнату, где

кроме губернатора находились» и так далее, страница за страницей. Я не в силах продолжать. Книга вселяет в меня грусть и невыносимую скуку. Не понимаю, как можно так жестоко издеваться над языком — этим прекрасным и чутким инструментом — и как столь отвратительные предложения очутились в книге, в библиотеке, где столь умная и привлекательная женщина, как фрекен Моллеруп, советует прочесть ее невинным детям. Однако сейчас я не нахожу слов, чтобы выразить эти мысли, и просто говорю, что книга скучная и я предпочла бы Захариаса Нильсена или Вильгельма Бергзое. Но фрекен Моллеруп отвечает, что детские книги захватывают, нужно лишь запастись терпением и читать, пока повествование не начнет развиваться. Только когда я настаиваю на том, чтобы добраться до полок со взрослой литературой, она озадаченно сдается и предлагает принести нужные книги, так как мне туда вход запрещен. Что-нибудь из Виктора Гюго, прошу я. Нужно говорить «Юго», улыбается она и треплет меня по голове. Мне не стыдно, что она поправляет меня, но когда я возвращаюсь домой с томиком «Отверженных» и отец одобрительно говорит: Виктор Гюго, да, он хорош! — я поучительно и важно отсылаюсь: отец неправильно произносит, его зовут Юго. Мне без разницы, как его зовут, отвечает отец спокойно, все имена нужно произносить, как они написаны. А остальное — бахвальство. Нет никакого смысла пересказывать родителям, что говорят люди не с нашей улицы. Однажды школьная дантистка попросила передать маме, чтобы та купила мне зубную щетку, и мне хватило глупости поведать об этом дома, на что мама сразу нашлась: можешь передать ей привет и сказать, чтобы она сама покупала тебе зубные щетки! Когда у мамы начинают болеть зубы, она сначала терпит целую неделю и весь дом содрогается от ее отчаянных стонов. Потом она советуется с одной женщиной из нашего подъезда, и та рекомендует смочить вату шнапсом и подержать ее у больного места, что мама в конце концов делает еще несколько дней подряд без какого-либо успеха. И только после этого она наряжается в свою самую красивую одежду и отправляется на Вестерброгаде, где живет

наш врач. Он берет плоскогубцы, вытаскивает зуб, и на какое-то время мама успокаивается. До дантиста дело никогда не доходит.

В средней школе девочки лучше одеваются и меньше хнычут, чем в начальной. И ни у кого из них нет вшей или заячьей губы. Отец говорит, что, хотя я и хожу в один класс с детьми «людей получше», у меня нет никаких причин смотреть на свою семью свысока. Это и правда так. Большинство отцов работают мастерами, и своего я произвожу в «машинисты», что звучит лучше, чем просто «кочегар». Отец самой состоятельной девочки в классе владеет парикмахерской на Гасверксвай. Ее зовут Эдит Шноор, и от важности она шепелявит. Имя нашей классной руководительницы — фрекен Маттиасен, она невысокая, жизнерадостная и умудряется получать удовольствие от преподавания. Глядя на нее, на фрекен Клаусен, фрекен Моллеруп и директрису из старой школы, похожую на ведьму, я укрепляюсь в мысли, что только плоскогрудые женщины добиваются хоть какого-то влияния на работе. Моя мама — исключение, у всех остальных домохозяек с нашей улицы груди внушительные, их обладательницы шагают, самоуверенно выставив их вперед. Как такое возможно? Фрекен Маттиасен — единственная женщина среди наших учителей. Она узнала, что мне нравится поэзия, перед ней не получится строить из себя дурочку. Этот трюк я оставляю для предметов, меня не интересующих, а таких очень много. Мне нравятся лишь датский и английский. Нашего учителя английского зовут Дамсгаард, и иногда он ужасно вспыльчив. В такие моменты он бьет по столу и заявляет: ей-богу, я вас научу! Эту клятву он дает так часто, что мы не долго ждем, чтобы прозвать его «Ей-богу». Однажды он читает вслух весьма сложное предложение и просит меня повторить его. Оно звучит так: «In reply to your inquiry I can particularly recommend you the boarding house at eleven Woburn Place. Some of my friends stayed there last winter and spoke highly about it»⁷. Он хвалит мое правильное

произношение, так что эту дурацкую фразу мне уже никогда не выкинуть из головы.

У всех девочек в классе есть альбомы для стихов, и, подолгу изводя маму нытьем, я тоже наконец получила свой. Он коричневый с золотой надписью «Стихотворения». Я позволяю некоторым девочкам записать в нем обычные стихи и время от времени заносу туда собственные произведения с датой и именем под ними, чтобы в будущем не возникло никаких сомнений: ребенком я была одаренным. Я храню его под стопкой полотенец и салфеток в выдвижном ящике комода в спальне, где, как мне кажется, он надежно укрыт от непосвященных. Однажды вечером, когда родители отправляются играть в карты с тетей и дядей, мы с Эдвином остаемся дома одни. Обычно в это время брат тоже уходил, но, поступив в ученики, стал сильно уставать. Это плохое место, говорит он и умоляет отца, чтобы тот позволил ему подыскать другое. Если ничего не получается, Эдвин начинает кричать и грозит уйти в море, покинуть дом или сделать что-нибудь еще. Тогда отец тоже кричит, а когда мама вмешивается в этот спор и поддерживает Эдвина, шум в гостиной поднимается такой, что почти заглушает звуки драки внизу у Рапунцель. По вине Эдвина спокойствие в гостиной нарушается почти каждый вечер, и иногда я желаю, чтобы он исполнил свои угрозы и ушел. Сейчас он сидит угрюмый, замкнувшись в себе, листает «Социалдемократен», и только тиканье часов на стене нарушает тишину. Я делаю домашнее задание, но молчание между нами — угнетающее. Брат пристально смотрит на меня своими темными задумчивыми глазами, которые неожиданно оказываются такими же печальными, как у отца. Тогда он говорит: не пора ли тебе спать, черт возьми? Совсем нельзя побыть одному в этом проклятом доме! Ты сам можешь пойти в спальню, отвечаю я обиженно. Так и сделаю, бормочет Эдвин, хватая газету и уходит. Он громко хлопает дверью. Через некоторое время, к своему удивлению и волнению, я слышу из спальни хохот. Что смешного? Я захожу и замираю от ужаса. Эдвин сидит на маминой кровати и держит в руках мой бедный

альбом для стихов. Брата прямо-таки скрутило. Покраснев от стыда, я делаю шаг в его сторону и протягиваю руку. Отдай мне альбом, говорю я, топнув ногой. У тебя нет права его брать! Ах, божечки, стонет Эдвин и корчится от смеха. Вот так умора! Да тут сплошная ложь. Ты только послушай! Сбиваясь на хохот, он зачитывает:

Помнишь, однажды мы плыли
По тихой и чистой воде?
В океане сверкал свет лунный,
Словно всё было во сне.
Внезапно весло выпускаешь,
И лодка наша встает.
Молчишь ты, но вижу, милый:
В глазах сияет любовь.
Ты сильной рукой обнимаешь
И в губы целуешь любя.
В жизни теперь не забыть мне
Этого чудного дня.

А-а! А-а! Ха-ха! Он падает на спину и продолжает смеяться, а из моих глаз слезы льются ручьем. Я ненавижу тебя, кричу я и беспомощно топаю ногой. Ненавижу тебя, ненавижу! Да чтоб ты провалился в мергельную яму! С этими словами я бросаюсь к выходу, как вдруг Эдвин издает новый тревожный звук. Я разворачиваюсь в дверном проеме и вижу, что он лежит на мамином полосатом одеяле, спрятав лицо в сгибе локтя. Мой драгоценный альбом валяется на полу. Горький неудержимый вой брата ввергает меня в ужас. Я неуверенно подхожу к кровати, не решаюсь дотронуться до него. Мы так никогда не делаем. Я вытираю рукавом слезы и произношу: я этого не хотела, Эдвин, про мергельные ямы. Я... я даже не знаю толком, что это такое. Он продолжает выть, не отвечая, а потом неожиданно поворачивается и безнадежно смотрит на меня: я ненавижу и мастера, и подмастерьев, говорит он. Они колотят меня целый день, и я никогда не научусь красить машины. Меня

лишь гоняют за пивом для них всех. Я ненавижу отца, потому что он не разрешает мне сменить место. И даже дома негде побыть одному. Нет ни одного угла, где можно остаться с собой наедине. Я смотрю на свой альбом для стихов и произношу: у меня тоже нет места для самой себя, как нет у отца и мамы. Они никогда не остаются наедине, даже когда... даже когда.... Он с удивлением смотрит на меня и наконец-то прекращает реветь. Точно, отвечает он грустно, черт, над этим я никогда не задумывался. Он поднимается — расстроен, конечно, что сестра видела его в минуту слабости. Так — и голос его грубеет, — всё станет лучше после переезда из дома. В этом я с ним согласна. Я направляюсь в кладовую и пересчитываю яйца: два беру, а другие перекладываю вперед, чтобы их казалось побольше. Сейчас приготовлю нам гоголь-моголь, кричу я в гостиную и берусь за дело. Теперь Эдвин нравится мне больше, чем в другие годы, когда он казался таким далеким и чудесным, красивым и веселым. Тогда его никогда и ничто не расстраивало, и это было не по-человечески.

Герда ждет ребенка, а Дровосек провалился сквозь землю. Рут считает, что жена и ребенок у него уже есть и что мне не стоит связываться с женатым мужчиной. Я совсем не могу себе представить, что у меня будет хоть что-то даже с неженатым, но держу это при себе. Мама говорит, что меня вышвырнут из дома, если я однажды заявлюсь туда с младенцем. Герду не вышвырнули. Она недавно ушла с фабрики, где получала двадцать пять крон в неделю, и теперь сидит дома со своим большим животом и поет-напевает весь день напролет, так что даже издали слышно: духом она ничуть не пала. Ее золотая коса давно обрезана, и в глубине сердца я больше не называю ее Рапунцель, хотя у сказочной девушки уже были близнецы, когда ослепленный принц нашел ее в пустыне. Этот момент кажется таким красивым и далеким, что его можно и пропустить, — в детстве я никогда не задумывалась, как такое могло случиться. В прошлом году хозяйкина Ольга родила от солдата, который тоже бесследно исчез, но ей было чуть больше восемнадцати. Потом она вышла за полицейского, и того не заботило, кто отец ребенка. Видя женщину с большим животом, я изо всех сил вглядываюсь в ее лицо в тщетных поисках знаков неземного счастья, как в стихотворении Йоханнеса В. Йенсена: «В своей груди, набухшей, напряженной, несу я милую и робкую весну». Ни у кого из них нет этого выражения в глазах, которое, я уверена, появится у меня, когда я буду ждать ребенка. Мне приходится выискивать это выражение неземного счастья в прозе, потому что отцу не нравится, когда я таскаю домой из библиотеки поэтические сборники. Пустое увлечение, говорит он презрительно, в стихах нет ничего общего с реальностью. Меня никогда не интересовала реальность, я никогда не писала о ней стихов. Однажды, когда я сижу за романом Германа Банга «У дороги», отец берет том двумя пальцами и произносит с нескрываемым отвращением: тебе нельзя его читать. Он был ненормальным! Я знаю: быть

ненормальным — ужасно, мне и самой сложно притворяться, что я нормальная. Поэтому меня утешает, что и Герман Банг считался таким, и книгу я дочитываю в библиотеке, в читальном зале. В конце я плачу. «Здесь, под камнем, схоронили нашу Марианну. Ходят девушки к могиле бедной Марианны»⁸. Я хочу писать похожие стихи, чтобы все и каждый их понимали. Отец не хочет, чтобы я читала и Агнес Хеннингсен, потому что она «публичная женщина», — правда, не удосуживается объяснить, что это значит. Если отец обнаружит мой альбом, он его точно сожжет. С тех пор как Эдвин нашел стихи и высмеял их, я всегда держу альбом при себе: днем ношу в школьной сумке, в другое время прячу в трусы, где его удерживает резинка. Ночью я кладу стихи под матрас. Кстати, позже Эдвин признается, что стихотворения хорошие. Вот если бы только их написал кто-то другой, а не я. Когда знаешь, что всё там сплошная ложь, считает он, остается лишь смеяться до смерти. Я радуюсь его похвале, а слова про ложь мне безразличны. Я знаю, что иногда приходится лгать, чтобы вывести правду наружу.

После того как Кэти и ее мать вышвырнули, у нас появились новые соседи. Это пожилая пара с дочерью по имени Ютте. Она работает в шоколадной лавке, а по вечерам часто навещает нас, когда мой отец уходит в ночную смену. С Ютте маме весело, ведь она предпочитает проводить время с девушками моложе нее. Ютте так добра, что приносит мне и Эдвину шоколад, и мы едим его с завидным аппетитом, хотя отец и уверяет, что сладости ворованные. Из-за щедрости Ютте со мной случается кое-что ужасное. Однажды я возвращаюсь домой из школы, и мама встречает меня словами: ну как, понравился тебе сегодняшней обед? Я краснею и теряю дар речи, не понимая, к чему она клонит. Свой обед я всегда выкидываю нетронутым, потому что он завернут в газету. У других он в вощенной бумаге, на что мама в жизни не согласится. Да, отвечаю я в отчаянии. Было вкусно. Интересно, она на самом деле ворует? — продолжает болтать мама. Надо думать, хозяин глаз с них

не спускает. Тогда я с облегчением понимаю, что с собой на обед мне положили шоколад, и радуюсь этому знаку любви. Удивительно, но мама еще ни разу не уличила меня во лжи. С другой стороны, она почти никогда не верит правде. Я думаю, большая часть моего детства прошла за изучением ее характера, хотя она и остается загадочной и настораживающей. Самое ужасное, что она может дуться на тебя дни напролет, упорно отказываясь разговаривать или слушать тебя, и ты никогда не узнаешь, чем же ее обидела. С отцом она ведет себя так же. Однажды, когда она подтрунивала над Эдвином из-за того, что он играл с девочкой, отец сказал: и что? Девочки — тоже люди. Ах так, ответила мама, крепко сжала губы и не раскрывала рта не меньше восьми дней. На самом деле я была на ее стороне, ведь девочкам и мальчикам не положено играть вместе. В школе это тоже запрещено, если только они не брат с сестрой. Но и с младшей сестрой мальчику лучше не показываться, так что, когда нам с Эдвином приходится вместе идти по улице, я должна следовать за ним в трех шагах и никоим образом не выдавать, что мы знакомы. Мною не похващаешься. Мама тоже так считает, потому что, когда нам нужно в Народный дом на партийные торжества, ей стоит больших усилий привести меня в приличный вид. Она подпаливает мои жесткие светлые волосы щипцами для завивки и настойчиво просит поджать пальцы ног, чтобы влезть в ботинки, которые нам одолжила Ютте. Она и так хорошенькая, черт побери, утешает отец, который сам возится с воротничком на купленной для этого случая белой рубашке. Эдвин уже такой взрослый, что его злит сама идея семейного выхода, и он отпускает в мою сторону привычные любезности: что я страшная и никогда не выйду замуж. Это особенный вечер, потому что после выступления перед рабочими Стаунинг лично вручит подарки всем агитаторам Вестербро, и среди них мой отец. Каждое воскресенье он носится вниз и вверх по лестницам нашего района, чтобы завербовать новых членов в союз избирателей⁹, а мама приводит его в отчаяние, собственноручно вычеркивая его из

партийных списков каждый раз, когда подходит срок платить ежемесячный взнос в пятьдесят эре. В ответ он бормочет какие-то ругательства, хватая свою старую шляпу и спешит в контору, чтобы вступить снова. Мама испытывает необъяснимую ненависть к Стаунингу и партии, то и дело намекая, что мой отец почти такой же преступник, как коммунист. Она не решается произнести это слово вслух, но иногда я вспоминаю о запрещенной книге, которую отец постоянно читал в моем раннем детстве — с красным флагом и устремленными на него взглядами счастливой семьи рабочего, — поэтому, возможно, в ее намеках была доля правды.

Сердце у меня, как, несомненно, и у отца, начинает биться быстрее, когда Стаунинг поднимается на трибуну. В речи его я, как обычно, понимаю в лучшем случае половину, но упиваюсь его спокойным низким голосом, который течет сквозь меня, словно эликсир, уверяя, что ничего плохого с нами не случится, пока Стаунинг жив. Он рассказывает о введении восьмичасового рабочего дня, хотя это уже в прошлом. Он говорит о профсоюзах и о подлых штрейкбрехерах, которых быть не должно. Я поспешно клянусь себе, Стаунингу и Господу Богу, что никогда не стану штрейкбрехером. Только когда он переходит к коммунистам, раскалывающим партию и вредящим ей, его голос возвышается до гневного грома, но он быстро переходит к мягкому, почти кроткому объяснению безработицы, в которой его винит не одна моя мама. Но нет, во всем виновата всемирная депрессия, заявляет он, и эти слова кажутся мне такими приятными и привлекательными. Я представляю себе мир в глубокой скорби, где все люди задернули занавески и выключили свет, а с унылого беззвездного неба тем временем потоком льется дождь. А сейчас, объявляет Стаунинг напоследок, я с большой радостью вручу каждому из наших агитаторов подарок как вознаграждение за их труд на благо нашего великого дела. Я краснею от гордости за то, что мой отец среди них, и искоса бросаю на него взгляд. Он нервно крутит усы и улыбается мне в ответ, словно догадывается, что я разделяю его радость. Из-за

ссоры по поводу обучения в его отношениях с Эдвином еще чувствуется холод, и сейчас брат, кажется, готов заснуть. Стаунинг объявляет имена громко и четко, в ответ пожимает каждому мужчине руку и вручает книгу. У меня всё плывет перед глазами, когда очередь доходит до отца. Подаренная книга называется «Поэзия и инструменты», а на титульном листе Стаунинг написал его имя и слова благодарности. По дороге домой отец, которого по-прежнему переполняет радость от оказанной ему чести, говорит: ты сможешь прочитать эту книгу, когда вырастешь. Тебе ведь нравятся стихи. Мама и Эвина рядом с нами нет. После собрания они пошли на танцы, которые моего серьезного отца совсем не интересуют, а я пока всего лишь ребенок. Позже мама ставит книгу в книжный шкаф так глубоко, чтобы ее совсем не было видно за закрытой стеклянной дверцей. Отличная награда за протирку ступенек каждое божье воскресенье, пренебрежительно говорит она отцу, и после этого он еще толкует о штрейкбрехерах и «низкой оплате труда»! Господь всемогущий! Отцу не дают насладиться его счастьем в тишине.

Время шло, и детство становилось тонким и плоским, как бумага. Оно было уставшим и изношенным, и в трудные моменты казалось, что оно не продержится до моего взросления. И все вокруг это замечали. Каждый раз, приходя к нам, тетя Агнете говорила: как же быстро ты растешь! Да, отвечала мама и с сожалением смотрела на меня, вот только бы ей еще немного прибавить в весе. Она права. Я была плоская, словно бумажная кукла, и одежда висела на моих плечах, как на вешалке. Детство должно длиться до четырнадцати лет, но что поделать, если оно кончилось раньше? На большинство важных вопросов не найти ответов. Я с завистью смотрела на детство Рут, такое прочное и гладкое, без единой трещинки. Казалось, оно переживет ее и кто-нибудь другой унаследует его и доносит за ней. Сама Рут об этом не догадывалась. Когда уличные мальчишки кричали мне вслед: как погодка внутри, сестричка? — она выдавала партию ругательств и проклятий, так что задиры в ужасе разбегались по сторонам. Она знала, что я ранима и скромна, и всегда защищала меня. Но мне уже было недостаточно одной Рут. И тем более фрекен Моллеруп — ведь она заботилась о стольких детях, а я всего лишь одна из них. Я всегда мечтала найти человека, того единственного, которому могла бы показать свои стихи и услышать от него похвалу. Бабуле они показались бы непристойными, а Эдвин высмеял бы их. Меня стали часто посещать мысли о смерти, которая представлялась мне другом. Я убедила себя, что хочу умереть, и однажды, когда мама была в городе, взяла хлебный нож и принялась пилить запястье в надежде найти артерию. Всё это время я рыдала, думая об обезумевшей от горя маме, которая уже скоро с воем бросится на мое мертвое тело. Но ничего не получилось, кроме нескольких шрамов от порезов, от которых до сих пор сохранились бледные следы. Моей единственной отрадой в этом ненадежном, зыбком мире были стихи:

Молодой, счастливой и веселой,
С шутками и смехом я жила
Свежей и цветущей розой.
Ныне ж я забыта и стара.

Мне исполнилось двенадцать лет. Впрочем, все мои стихи, как считал Эдвин, были «сплошной ложью». В большинстве из них воспевалась любовь, и если верить им, я жила беспечной жизнью, полной интересных достижений.

Я не сомневалась, что меня отправят в исправительное учреждение, если родителям когда-нибудь попадется на глаза подобное стихотворение:

О, друг, охватило меня ликование,
Когда наши губы слились.
Лишь ради этого мгновенья
С тобой мы на свет родились.
Размыслась юности неясная мечта,
Открыты настежь жизни двери,
Я счастлива! — тебя благодаря
За то, что подарил любви крещение.

Я признавалась в любви лунному лику, к Рут или вовсе обходилась без посвящений. Я считала, что стихи затягивали проплешины детства новой тонкой кожицей, которая скрывалась под еще не вполне отвалившейся от раны коркой. Составится ли из стихов мой взрослый образ? В последнее время я почти всегда чувствовала себя подавленно. Холодный ветер на улице насквозь продувал мое длинное, тонкое тело, на которое мир смотрел с осуждением. В школе я всегда сидела и так же пристально смотрела на учителей, как и на всех прочих взрослых и сформировавшихся личностей. Однажды учительница, замещающая преподавательницу пения, спокойно подошла к моему месту и произнесла тихо, но отчетливо: мне не нравится твое лицо. Дома я уставилась в зеркало над комодом. Лицо в нем было бледное, с пухлыми щеками и

испуганными глазами. На эмали верхних передних зубов остались небольшие углубления из-за перенесенного в детстве рахита. Об этом я узнала еще от школьной дантистки — она рассказала, что причина болезни в скудном питании. Я, естественно, держала это знание при себе, дома делиться им не стоило. Когда мне не удавалось найти объяснение моей растущей грусти, я начинала думать, что всемирная депрессия коснулась и меня. Я часто вспоминала и о раннем детстве, которое никогда не вернется, и мне казалось, что тогда всё было лучше. Вечером я села на подоконник и сделала запись в моем альбоме стихов:

Хрупкая струна порвется
И свяжется лишь тогда,
Когда звон ее потеряется,
Когда звука умрет высота.

Тогда литературными образцами для меня служили псалмы, народные песни и барды девяностых.

Однажды утром я проснулась и почувствовала себя отвратительно. Болело горло, и, едва я коснулась ногой пола, меня сильно зазнобило. Я спросила маму, можно ли остаться дома и не идти в школу, в ответ она наморщила лоб и попросила избавить ее от таких глупостей. Она не выносила неожиданных событий и визитов гостей, если те не были оговорены заранее. Пылая огнем, я пошла в школу, и с первого же урока меня отправили домой. Тогда мама взяла себя в руки и приняла мою болезнь. В кровати я сразу заснула, и когда очнулась, генеральная уборка была в самом разгаре. Мама вешала чистые гардины в спальней комнате и обернулась на мой голос. Хорошо, что ты проснулась, сказала она, доктор скоро придет, только бы успеть закончить дела. Я, как и мама, очень боялась врача от фонда медицинского страхования. Как только она застелила кровать чистым бельем и поковырялась у меня в ушах шпилькой для волос, в дверь позвонили, и мама смущенно пошла открывать. Добрый день, вымолвила она благоговейно,

извините, что потревожили вас. Продолжить она не успела, ее перебил приступ яростного кашля. Хрипя и сплевывая в носовой платок, доктор тростью отодвинул ее в сторону: да-да, проревел он, отдышавшись. Эти ступеньки — смерть моя, ни туда ни сюда не развернуться. Так нельзя работать. Я вас прекрасно помню, с вашими-то зубами. Но ради всего святого, кто болен? Ах, ваша дочь — так где же она, черт побери? Сюда. Мама проводила его ко мне, и доктор с немалым трудом сильно втянул живот, чтобы протиснуться ко мне мимо родительской кровати. Ну что, рявкнул он, приблизив свое лицо к моему, что с тобой не так? Ты ведь не просто прогуливаешь, верно? У него был такой отвратительный вид, что я натянула одеяло до самого подбородка. Он уставился на меня выпученными черными глазами, и мне захотелось высказать ему, что, хотя мы и бедные, но, по крайней мере, не глухие. Его руки были густо покрыты волосами, и по пучку толстых черных волос торчало из каждого уха. Он громко потребовал ложку, и, выскочив за ней в кухню, мама чуть не споткнулась о собственную ногу. Доктор посветил небольшим фонариком в моем горле, ощупал шею и грозно спросил: в школе дифтерия, да? Кто-нибудь из твоих одноклассников? Я кивнула. Тогда он скривился, словно съел что-то кислое, и закричал: у нее дифтерия! Ей срочно нужно в больницу. Черт подери! Мама с упреком уставилась на меня, будто и представить не могла, что я стану так нагло докучать занятому доктору. Тот со злостью схватил трость и вылетел в гостиную, чтобы выписать направление в больницу, и я пришла в ужас. Больница! Мои стихи! Где же теперь их прятать? Сон снова взял надо мной верх, и когда я пробудилась, мама сидела на краю кровати. Она тихо меня спросила, чего бы мне хотелось, и, чтобы порадовать ее, я попросила кусочек шоколада, хотя и знала, что проглотить его не смогу. Благодаря Ютте в доме теперь всегда водился шоколад. Пока мы ждали скорой помощи, я объяснила, что очень хочу взять с собой альбом стихов на случай, если кто-нибудь в больнице захочет сделать в нем запись. Мама совсем не возражала. В машине скорой помощи она сидела рядом и всю дорогу

гладила мой лоб и руки. Я не могла припомнить, чтобы она делала что-то подобное раньше, и от этого стало одновременно стыдно и радостно. На улице или в очереди я всегда со смешанным чувством зависти и радости смотрела на матерей с маленькими детьми, которых брали на руки или ласкали. Может быть, мама и делала так прежде, но я этого не помню. В больнице меня привезли в большую комнату, где лежали дети разного возраста. Все мы заразились дифтерией, и многим было так же плохо, как мне. Я положила альбом в выдвижной ящик, и никто не удивился, что я взяла его с собой. В больнице я провела три месяца, но почти ничего не помню. В часы посещений мама стояла под окнами и кричала мне что-то. Незадолго до выписки она побеседовала с главным врачом, и тот сказал, что у меня малокровие и слишком маленький вес. И то и другое задело маму за живое, поэтому в первые дни после возвращения домой она готовила для меня суп из ржаной муки и другие сытные блюда, хотя отец снова стал безработным. За время моего долгого отсутствия Рут привязалась к хозяйкиной толстой белобрысой Минне, которой скоро исполнялось тринадцать лет; теперь Рут постоянно проводила с ней время в углу у мусорных баков, хотя ей пока и недоставало лет для подобного повышения. Я чувствовала себя брошенной и одинокой. Только ночи и дожди, моя тихая вечерняя звезда и альбом немного меня утешали. Стихи я писала исключительно такие:

Ворона-ночь, с тоской извечной,
Меня окутай нежно темнотой
И бережно мне душу успокой.
Я стану сонной и беспечной.
Тихонько дождь в окно стучит,
Он мягко барабанит по стеклу.
Я на подушку голову кладу,
И лен мне щеку холодит.
В спокойствии я засыпаю.
Благословенна ночь, друг милый мой.

Я завтра встречу жизни день иной.
И как унять печаль — не знаю.

Однажды брат предложил мне попробовать продать свои стихи какому-нибудь журналу, но я и поверить не могла, что за них захотят заплатить. Да это было и неважно — главное, чтобы кто-нибудь их напечатал, вот только с этим «кем-нибудь» мне никак не встретиться. Однажды, когда я стану взрослой, мои стихи, конечно, выйдут в настоящей книге, но что для этого предпринять, я не знала. А вот мой отец наверняка знал, но ему лучше ничего не рассказывать, ведь он считает, что девушка не может стать поэтом. Мне хватало и того, что я просто писала стихи, и я вовсе не спешила показать их миру, где они пока вызывали только смех и негодование.

Дядя Питер убил Бабулю. По крайней мере так считают мои родители и тетя Розалия. В сочельник он и тетя Агнете забрали ее к себе, за окном бушевал ужасный буран. Не меньше четверти часа они ждали трамвая, и при всем своем сказочном богатстве дядя Питер не предложил взять такси. Вечером у Бабули началось воспаление легких, и ее уложили спать на расстеленный диван в гостиной, которую протапливают только на Рождество. Представляешь себе, возмущалась моя мама, какая мерзкая сырость в комнате, где топят всего три дня в году. Там Бабуля пробыла все праздники, мы навещали ее все вместе, и она прекрасно знала, что умрет. Мы же в это не верили. Она лежала в белой ночной рубашке с высоким воротником, и ее маленькие руки, похожие на руки моей мамы, всё время беспокойно двигались по одеялу, словно понапрасну искали что-то очень важное. Теперь, когда на ней не было очков, стали хорошо заметны ее длинный и острый нос, синие и ясные глаза и строгая и непреклонная, когда она не улыбалась, линия запавшего рта. Бабуля беспрерывно говорила о своих похоронах и о пятистах кронах, утраченных из-за скандального банкротства «Ландмандсбанка». Мама и тетки от души смеялись и отвечали: у тебя будут великолепные похороны, милая мамочка, всему свое время. Думаю, только я и воспринимала ее всерьез. Ей было семьдесят шесть лет, и я считала, что ей недолго осталось. Вместе с ней мы единодушно выбрали песни и решили, что это будут «Церковный колокол не для столиц» и «Если ты руку на божий плуг положишь». Вторая песня не считалась похоронной, но нам с Бабулей она очень нравилась, и мы часто исполняли ее, когда я приходила в гости. За моим выбором таилось немного вредности. Отец ненавидел этот псалом больше других из-за строчки «если плач сковывает голос, вспомни об урожае золотом», которая, по его мнению, доказывала враждебность церкви к рабочим.

Мне бы очень хотелось самой написать псалом для Бабули, но ничего не выходило. Я пыталась много раз, но всегда получалось похоже на уже известные песнопения, так что, к сожалению, пришлось сдаться. На третий день сочельника случилось ужасное. Все три сестры сидели у кровати Бабули, в той же комнате был и дядя Питер, как вдруг раздался звонок, и, когда одна из кузин открыла дверь, на пороге в безобразном виде появился Бездонная Бочка и направился к постели больной. Тетя Розалия закрыла лицо руками и заплакала. Бездонная Бочка замахнулся на нее и закричал, что ей, черт подери, нужно поскорей убираться домой, иначе он пересчитает ей все кости. Дядя Питер, подавшись вперед, схватил пьяницу, а нас, детей, из гостиной выгнали. Стоял страшный шум, слышались крики женщины, и среди всего раздавался спокойный, властный голос Бабули, пытавшейся воззвать к достоинствам Бочки, если таковые у него еще сохранились. Вдруг всё стихло — позже мы узнали, что дядя Питер его вышвырнул. Раньше Бездонной Бочке никогда не позволялось показываться в этом доме. То же самое творилось и на нашей улице: либо мужчины — большинство из них — пили, либо питали жгучую ненависть к тем, кто это делал. Бабуле стало хуже; доктор сказал, что она, скорее всего, уже не выберется, и мне запретили ее навещать. Мама проводила возле нее дни и ночи, возвращалась домой с покрасневшими глазами и приносила удручающие новости. Когда Бабуля умерла, Эдвина к ней пустили, а меня нет. Он сказал, что она выглядела как живая. Но на похороны я пошла. В церкви Суннбю я сидела рядом с мамой и тетей Розалией, и уже во время проповеди на меня напал истерический смех. Это было так ужасно, что пришлось прикрывать нос и рот платком в надежде, что все подумают: я, как и остальные, плачу. К счастью, по моим щекам текли слезы. Я была в ужасе от того, что не испытывала из-за утраты никаких чувств. Я очень любила Бабулю. Звучали псалмы, что выбрали мы с нею. Почему же я не могла скорбеть? После похорон прошло много времени, и мое одеяло заменили бабушкиным — единственной вещью, доставшейся маме в

наследство. Когда однажды вечером я натянула его на себя, меня окутал особый бабулин запах чистого постельного белья, и я впервые заплакала и осознала произошедшее. Ох, Бабуля, ты больше никогда не услышишь моих песен. Ты больше никогда не намажешь для меня хлеб настоящим маслом, и всё, что ты забыла поведать мне о своей жизни, останется нерассказанным. И еще долго я каждую ночь засыпала в слезах, потому что запах из одеяла не выветривался.

Не дай тебе бог мигом не вернуть эту машинку — с этими словами мама швыряет мне тяжелую машинку для отжима белья, и я отпрыгиваю в сторону, чтобы та не приземлилась мне на ноги. Мама стоит в прачечной, согнувшись над парящим котлом, и я знаю, что именно в этот день месяца она становится полубезумной. Но я в ужасной ситуации. Она дала мне десять эре, чтобы взять напрокат машинку для отжима, но та стоит пятнадцать эре в час. Цена поднялась на пять эре, и мне пришлось пообещать, что недостачу я верну в другой раз. Сегодня нужно было заплатить уже двадцать эре, а у меня всего десять. Мам, произношу я удрученно, я не виновата, что стало дороже. Она поднимает голову и убирает мокрые волосы с лица. Поторапливайся, говорит она угрожающе, и я выхожу из парящей комнаты во двор и смотрю в серое небо, будто ожидая от него помощи. Скоро вечер, и рядом с мусорными баками собралась привычная компания, они негромко переговариваются друг с другом. Мне бы очень хотелось стать одной из них. Мне бы очень хотелось стать как Рут, которая настолько мала, что исчезает среди остальных. Привет, Тове, кричит она радостно, потому что совсем не понимает, что бросила меня. Привет, отвечаю я, и неожиданно у меня зарождается надежда. Я подхожу поближе, жестом подзываю Рут и рассказываю ей про свое поручение, на что она отвечает: я пойду с тобой и смогу вернуть машинку. Давай твою десятку — это лучше, чем ничего. Для Рут, которую никогда не удивляет поведение взрослых, всё очень просто. Оно и меня особо не удивляет, если это касается моей мамы, к чьему непредсказуемому характеру я уже привыкла. Я стою на углу Сунневедсгаде, готовая спасаться бегством, Рут тем временем врывается в лавку, бросает на прилавок машинку, а с нею и пять эре, и мчится ко мне. Мы несемся до самого переулка Америкавай и, запыхавшись, останавливаемся и заливаемся смехом, словно в старые времена, когда мы проворачивали

рискованные дела вместе. Эта сучка орала мне в спину, стонет Рут. Это стоит пятнадцать эре, вопила она, но не могла быстро пролезть между машин — с ее-то жирным брюхом. Боже, ну и умора! Светлые слезы оставляют полосы на хорошеньком личике Рут, и меня переполняют счастье и благодарность. По пути домой она спрашивает, почему я не хочу присоединиться к ним в мусорном углу. С ними так весело, с этими взрослыми девочками, говорит она. Они так здорово проводят время, и уж если Рут достаточно взрослая для их компании, то я и подавно. Когда мы возвращаемся в наш двор, у баков стоят только Минна и Грете. Что Рут нашла в Минне, я не понимаю. Грете живет в парадном доме, ее мать разведена и работает швеей, как и моя тетя. Эта Грете в седьмом классе, и я с ней почти не знакома. Под ее вязаной кофтой проглядывают два бугорка, которых мне так мучительно не хватает. Когда она смеется, становится заметно, что рот у нее кривой. В мусорном углу полумрак, из баков несет отвратительно. Две взрослые девочки сидят прямо на них, и Минна гостеприимно подвигается, чтобы освободить рядом место для Рут. Я столбом стою перед ними и не знаю, что сказать. Я так много лет ждала этого момента, а теперь не понимаю, что здесь особенного. У Герды скоро родится малыш, говорит Грете, колотя пятками по мусорным бакам. Он будет таким же тупым, как и Людвиг-Красавчик, отвечает Минна с надеждой. Это случается с детьми, которых заделали по пьянке. Да ни черта подобного, отвечает Рут, тогда бы чуть не все тут были тупыми. Они всегда разговаривают в такой манере и всегда знают о других что-нибудь обидное и непристойное. Может, они и о нас так же треплются за моей спиной. Хихикая, обсуждают они выпивку, блуд и неприличные тайные связи. Грете и Минна болтают, что и часу после конфирмации не проходят в девственницах, а уж о том, чтобы не забеременеть до восемнадцати, они позаботятся. Всё это я уже знаю от Рут, и разговоры в мусорном углу кажутся мне смертельно грустными и скучными. От них у меня щемит в груди, из-за них я держусь подальше от двора, и улиц,

и высотных зданий. Не знаю, бывают ли другие улицы, другие дворы, другие дома и люди. Пока что я ходила только на Вестерброгаде — купить три фунта простого картофеля у бакалейщика, который всегда угощал меня леденцами, а потом оказался «Сверлильщиком Х». Днем он преспокойно приглядывал за своей маленькой лавкой, а по ночам потешался над полицией, взламывая городские почтовые отделения. Много лет его не могли поймать. Я глубоко погружаюсь в свои мысли, как вдруг Рут выдает: у Тове есть ухажер! Две взрослые девчонки заходятся смехом. Да вранье это всё, говорит Минна, она для такого слишком святая! Да провалиться мне на месте, если это вранье, настаивает Рут и широко улыбается мне без всякого злорадства. Я даже знаю, кто он. Чарльз-Кудряшка! А-а-а, ха-ха, ха-ха! Их скручивает от хохота, а я смеюсь громче всех — только потому, что Рут хотела нас повеселить, хотя я и не нахожу в этом ничего забавного. Герда, сгорбившись и тяжело ступая, идет через двор, и смех тает. В руках она держит сетку с пивными бутылками, они со звоном ударяются друг о друга. Ее короткие волосы темнее, чем раньше, а на лице видны коричневые пятна. Я поспешно загадываю, чтобы у нее родился красивый малыш с ясным умом. Хочу, чтобы это была девочка с золотыми волосами, свитыми в длинную густую косу. Может быть, Герда и была влюблена в Дровосека — никому не под силу заглянуть в женское сердце. Может быть, каждый вечер она убаюкивает себя слезами, сколько бы ни напевала и ни смеялась днем. Когда-то она так же стояла в мусорном углу и кричала о том, что с ней будет в четырнадцать лет. Я не хочу следовать этой традиции. Я не хочу этого делать, пока не встречу мужчину, которого люблю, но еще ни один мужчина или мальчик даже не посмотрел в мою сторону. Я не хочу никакого «стабильного мастера, что будет приходить по вечерам трезвым и приносить в дом всю недельную зарплату». Уж лучше останусь старой девой, к чему мои родители понемногу готовятся. Отец всё время твердит о «постоянной работе с обязательной пенсией» после окончания школы, но мне она кажется такой же ужасной, как

и «стабильный мастер». Размышляя о будущем, я каждый раз наталкиваюсь на глухую стену, поэтому мне хочется растянуть свое детство подольше, насколько возможно. Другого выхода я не вижу, и когда мама зовет меня из окна, я с облегчением покидаю заветный мусорный угол и поднимаюсь в квартиру. Ну что, спрашивает она очень любезно, удалось тебе отдать машинку? Да, просто отвечаю я, как будто сама справилась с ее сложным поручением, и мама улыбается мне.

Фрекен Маттиасен попросила выяснить дома, разрешат ли мне идти в гимназию, хотя я и не ответила на экзамене, сколько длилась Тридцатилетняя война — никогда не научусь понимать такие шутки. Фрекен Маттиасен говорит, что я способная и мне надо учиться дальше. Я тоже хочу, но твердо знаю, что позволить себе это мы не можем. Без особой надежды я всё равно спрашиваю отца, он приходит в необычайное возбуждение и презрительно рассуждает о синих чулках и студентках, что так уродливы и тщеславны. Однажды ему нужно было помочь мне с докладом о Флоренс Найтингейл, но он только и смог рассказать, что о ее больших ногах и неприятном запахе изо рта, поэтому пришлось обратиться к фрекен Моллеруп. Вообще-то отец написал за меня много работ и получил за них хорошие оценки от фрекен Маттиасен. Схема не давала осечки, пока он не завершил работу об Америке словами: «Америка считается страной свободы. Раньше эта свобода означала преданность самому себе, своей работе и своей земле. Сейчас это свобода умереть с голода, если у тебя нет денег на еду». Что, ради всего святого, спросила моя учительница, ты имеешь в виду под этим нравоучением? Объяснить я не смогла, и только за старания нам поставили «очень хорошо». Нет, я не могу продолжить учебу, и от детства моего осталось совсем немного. Я должна выпуститься из школы, пройти конфирмацию и получить работу в чужом доме, где у меня будет много дел. Будущее — чудовищный, могущественный колосс, который скоро обрушится и раздавит меня. Мое изорванное в клочья детство треплется вокруг меня, и стоит залатать одну дыру, как тут же появляется новая. От этого я становлюсь ранимой и раздражительной. Я дерзко отвечаю маме, а она злорадствует: давай-давай, вот погоди, начнешь жить среди чужих людей! Их главная боль — Эдвин, с которым мы сблизились с тех пор, как у него возникли разногласия с родителями. Я не питаю к нему никаких глубоких

и болезненных чувств, поэтому он без тени страха может открыться мне, в чем только захочет. Отец всегда верил, что из Эдвина выйдет толк, ведь в детстве у него было столько талантов. Он играл на гитаре, пел под ее аккомпанемент и всегда получал роль принца в школьных представлениях. Все девочки в школе и во дворе были влюблены в него, и, так как мы ходили в одну и ту же школу, учителя всегда с удивлением спрашивали меня: это у тебя такой красивый и прилежный брат? Отец ликовал, что Эдвин состоит в Движении юношеского спорта и вкладывает в партию всю душу. Отец любил повторять, что не уважает министров, не державших в руках лопаты, так что кто знает, какого будущего он желал для Эдвина? Но сейчас все мечты растоптаны. Эдвин ждет не дождется славного дня, когда станет подмастерьем и сможет сам издеваться над бедными учениками. В восемнадцать лет он уйдет от родителей, снимет собственную комнату и будет заниматься там своими делами в тишине и покое. Он хочет жить в таком месте, куда сможет приводить девушек, потому что в этом вопросе моя мама абсолютно непримирима. Для нее молодые девушки — вражеские агенты, которые так и рыщут повсюду, чтобы выйти замуж и сесть на шею работающему мужу, на чье обучение родители копили, отказывая себе. И теперь, когда он стал зарабатывать, с горечью говорит мама моему отцу, и понемногу может возвращать, он, конечно же, уходит из дома. Это какая-то девица вбила ему в голову. Такие разговоры родители ведут, укладываясь в постель, — они считают, что я уже сплю. Я хорошо понимаю Эдвина, потому что здесь ему уже не место, и, как только мне исполнится восемнадцать лет, тоже уйду. Но мне понятно и разочарование отца. Недавно, когда они ругались, брат выпалил, что Стаунинг пил и у него были любовницы. Отец покраснел от злости и влепил ему такую ужасную пощечину, что брат свалился на пол. Прежде я никогда не видела, чтобы отец бил Эдвина, да и меня он ни разу не ударил. Однажды вечером, когда родители в постели снова обсуждали эту проблему, отец сказал: пусть Эдвин приглашает свою девушку к нам домой. Нет у него девушки — по крайней мере, постоянной, отрезала мама.

Есть, ответил отец, иначе бы он не ходил каждый вечер гулять. Ты сама и гонишь его отсюда. Как и в других редких случаях, когда отец крепко стоял на своем, маме пришлось сдаться, и на следующий день Эдвину предложили позвать Сольвейг на вечерний кофе. Я много слышала о Сольвейг, но никогда ее не видела. Я знала, что она и мой брат любят друг друга и поженятся, как только он станет подмастерьем. Еще я знала, что он ходит к ней домой и очень нравится ее родителям. Он познакомился с ней на танцах в Народном доме. Сольвейг живет на Энгхавевай, и ей, как и брату, семнадцать лет. Ее отец — веломеханик с собственной мастерской на Вестерброгаде. Она выучилась на дамского парикмахера и хорошо зарабатывает.

Наступает вечер, и мы с опаской следим за каждым маминым движением. Я помогаю ей расстелить нашу единственную белую скатерть, а Эдвин напрасно пытается поймать ее взгляд, чтобы улыбнуться в ответ. Он одет в костюм для конфирмации, рукава и штанины уже коротковаты. Отец нарядился в свой лучший воскресный костюм и сидит на самом краешке дивана, нервно теребя узел на галстук, будто он сам здесь в гостях. Я приношу блюдо пирожных с кремом и ставлю посреди стола. В дверь звонят, и брат, едва не запутавшись в ногах, бросается открывать. Из коридора слышится ясный смех, и мама крепко сжимает губы и хватается за вязание, взявшись за него со всем пылом. Добрый день, говорит она и, не поднимая глаз на Сольвейг, протягивает ей руку. Присаживайтесь, пожалуйста. С тем же успехом она могла бы сказать: катись к чертям, — но Сольвейг, кажется, не замечает напряженности и, улыбаясь, садится. Она кажется мне очень красивой. Светлые волосы венком оплетают голову, на румяных щеках глубокие ямочки, а синие глаза будто вечно смеются. Она не замечает нашего молчания и сама говорит весело и уверенно, словно привыкла отдавать приказы. Она рассказывает о своей работе, о родителях, об Эдвине и как она рада наконец-то побывать в его доме. Мама еще больше мрачнеет и продолжает вязать, как будто взяла сдельную работу. В этот момент

Сольвейг всё-таки что-то замечает и произносит: конечно, это удивительно! Когда мы с Эдвином поженимся, вы станете моей свекровью. Она смеется от всего сердца в полной тишине, а мама внезапно раздражается слезами. Это невыносимо неловко, и никто не знает, что делать. Мама плачет, но вязания не бросает, и в ее слезах нет ничего волнующего или трогательного. Альфрида! — восклицает отец с укором, а ведь он никогда не называет ее по имени. Я в отчаянии хватаю кофейник. Не хотите ли еще кофе? — спрашиваю у Сольвейг и, не дождавшись ответа, наливаю ей полную чашку. Надеюсь, она поверит, что у нас принято так себя вести. Спасибо, отвечает она с улыбкой. На мгновение все замолкают. Брат угрюмо упирается взглядом в скатерть. Сольвейг преувеличенно тщательно добавляет в кофе сливки и сахар. Слезы ручьем текут из-под маминых опущенных век, и Эдвин неожиданно отталкивает свой стул так, что тот ударяется о буфет. Пойдем, Сольвейг, говорит он, мы уходим. Я так и думал, что она всё испортит. Прекрати реветь, мама. Я женюсь на Сольвейг, хотите ли вы этого или нет. Прощайте. Держа Сольвейг за руку, он спешит к выходу, не дав ей попрощаться. Дверь с грохотом захлопывается за ними. Только после этого мама снимает очки и вытирает глаза. Ты сам всё видел, с упреком бросает она отцу. Он непременно должен был пойти в ученики — и вот что вышло! Эта девица ни за что не выпустит из рук такое сокровище! Уставший отец привычно ложится на диван, ослабляет галстук и расстегивает верхнюю пуговицу на рубашке. Не в этом дело, говорит он без злости, но так ты вытравишь детей из дома.

Эдвин больше никогда не приводил девушек домой, а когда он женился, мы познакомились с его женой только после свадьбы. И это была не Сольвейг.

Последняя весна моего детства холодная и ветреная. На вкус она напоминает пыль и пахнет мучительным расставанием и изменениями. В школе все заняты подготовкой к экзаменам и к конфирмации, но я не вижу в этом смысла. Убираться и стирать в чужих домах можно и без школьного диплома, а конфирмация могильной плитой ложится на детство, которое представляется мне сейчас светлым, безопасным и счастливым. Все события этого периода оставляют у меня глубокие, неизгладимые впечатления — похоже, за всю жизнь мне не забыть даже самых неуместных его отметин. Мы идем с мамой в магазин за туфлями для конфирмации, и она говорит так, что и продавец ее слышит: вот тебе последняя пара обуви от нас. Передо мной открывается страшная перспектива: я не знаю, как буду себя обеспечивать. Туфли сделаны из парчи и стоят девять крон. Каблуки высокие, и отчасти потому, что я не сумею ходить на них, не вывихнув лодыжек, отчасти потому, что маме я кажусь в этих туфлях длинной, как башня, отец укорачивает каблуки топором. Из-за этого носы задираются, но мама утешает меня: надеть их придется один-единственный раз. Эдвин на свое восемнадцатилетие переехал в комнату на улице Багерстреде, теперь я стелю себе на диване в гостиной — еще один неприятный знак того, что детство закончилось. Здесь я не могу сидеть на подоконнике, потому что он заставлен геранью, и отсюда видно только зеленую цыганскую кибитку и бензозаправку с большим круглым фонарем, глядя на который я однажды закричала: мама, луна свалилась. Я сама этого не помню, да и вообще воспоминания взрослых о тебе сильно отличаются от твоих собственных. Это мне давно известно. Наши с Эдвином воспоминания тоже разнятся, и каждый раз, когда я спрашиваю, помнит ли он какой-нибудь случай из общего прошлого, он отвечает: нет. Мы с братом обожаем друг друга, но общаться толком не умеем. Когда я навещаю его в новой комнате, дверь всегда открывает хозяйка. У нее черные

усики, и, похоже, ее мучают те же подозрения, что и мою маму. Сестра, значит, говорит она, ну-ну. Не доводилось мне встречать квартиранта, у которого было бы столько сестер и кузин. Дела у Эдвина плохи, хотя теперь в его распоряжении целая комната. Он курит сигареты, пьет пиво и по вечерам часто ходит на танцы со своим другом по имени Торвальд. Они вместе учились и хотят когда-нибудь открыть свою собственную мастерскую. Торвальда я никогда не видела, потому что нам обоим запрещали приводить домой кого бы то ни было — не важно, какого пола. Эдвин грустит, потому что Сольвейг его бросила. Однажды она пришла к нему в комнату, где они наконец-то могли побыть наедине, и призналась, что замуж за него всё-таки не собирается. Эдвин винит во всем маму, а я считаю, что Сольвейг нашла себе другого. Я где-то читала, что настоящая любовь становится только сильнее от препятствий, но помалкиваю — пусть Эдвин верит, что ее отпугнула мама. Комната у него совсем крошечная, мебели самое место на свалке. У брата я никогда не засиживаюсь: между словами мы делаем длинные паузы, и моему уходу он радуется не меньше, чем нашей встрече. Я рассказываю о пустячных новостях из дома. Например, я ношу полуботинки на шнурках, которые, разумеется, мне достались в наследство от брата. Чтобы они продержались подольше, отец покрыл подошву лаком и мазнул по носам, из-за чего те загнулись и сделались совершенно черными, хотя остальная часть — коричневая. Однажды мама кинула мне какие-то лохмотья: отполируй свои ботинки и брось их в печку. Ботинки? — радостно переспросила я, и она долго от души смеялась надо мной. Нет, дуреха, тряпье. Эдвин тоже смеется над такими историями, поэтому я ее сейчас и рассказываю, ведь брата больше нет в наших буднях. Всё теперь по-другому. Только Истедгаде неизменна, и по ней мне разрешают ходить по вечерам. Я гуляю с Рут и Минной, и Рут, кажется, не замечает, что между мной и Минной установилось что-то похожее на ненависть. Иногда мы идем на Саксогаде в гости к Ольге, Минниной старшей сестре, которая устроила свою жизнь, выйдя замуж за полицейского. Ольга сидит

с малышкой и даже разрешает мне взять девочку на руки. Это невероятно приятно. Минна тоже хочет выйти за мужчину в форме. Ведь они такие красавчики, говорит она. Они поселятся рядом с Хедебюгаде, потому что так поступают все молодожены. Рут одобрительно кивает и готовится к той же участи, которая им обеим кажется столь желанной. Я улыбаюсь, будто соглашаюсь с ними и будто тоже с нетерпением жду чего-то подобного, но, как всегда, боюсь разоблачения. В их мире я чувствую себя чужеземкой, и мне не с кем поговорить о непреодолимых проблемах, поглощающих меня при мысли о будущем.

У Герды родился прелестный маленький мальчик, и, пока ее родители на работе, она гордо прохаживается с ним по улице. Ей всего семнадцать, а рожать прилично только в восемнадцать. Ее недолюбливают: ни внешним видом, ни поведением она не показывает, что жизнь ее пошла наперекосяк, и предлагаемую ей улицей жалость принимает снисходительно. Все возмущены ее отказом взять корзину с детской одеждой, которую собрала Ольгина мать. Вот Герда бойко вышагивает, а ведь родители содержат ее в том возрасте, когда это уже неприлично. Если бы на ее месте была ты, говорит моя мама, я бы тебя уже давно выгнала. Как бы мне хотелось держать в руках своего ребенка! Я сама буду его обеспечивать и придумаю для этого всё возможное. Ах, только бы до этого дошло. По вечерам, лежа в кровати, я представляю, как встречаю красивого и любезного молодого человека, которого самым вежливым образом прошу сделать мне большое одолжение. Я объясняю ему, что я невероятно сильно хочу ребенка, и прошу в этом помочь. Он соглашается, и я сжимаю зубы, закрываю глаза и притворяюсь, что это происходит не со мной, а с кем-то, до кого мне и дела нет. После этого я не желаю его снова видеть. Но ни на улице, ни во дворе мне не попадается такой молодой человек, и я записываю в своем альбоме, хранящемся сейчас на самом дне выдвижного ящика в буфете, такие стихи:

В небесной сини мотылек,

Как перышко, летел,
Приличья, разум и мораль
Он навсегда презрел.
Весною опьяненного,
На трепетных крылах,
Понес его луч золотой
К земле в густых садах.
И в бледно-розовый цветок,
Раскрывшийся с зарей,
Впорхнул воздушный мотылек
К невесте молодой.
Их спрятал яблоневый цвет,
Хмельной полет сокрыл.
О, милые, вы показали мне
Любви восторг и пыл.

Не успела Бабуля остыть в земле, как отец «выписал» нас из национальной церкви. Так выразилась моя мама. Могилы у Бабули нет. Ее прах лежит в урне в крематории на Биспебьерг, и я не испытываю никаких эмоций, глядя на дурацкий горшок. Но я часто там бываю — так хочет мама. Каждый раз, когда мы туда приходим, она рыдает без остановки, и меня мучает совесть, когда она спрашивает: почему ты не плачешь? Ты ведь плакала на похоронах. Теперь, когда Эдвин от нас ушел, я постоянно провожу время с мамой, если я не в школе и не во дворе. Вместе мы ходим и в Народный дом, но танцевать с ней — приятно мало, потому что я на голову выше мамы и рядом с ней чувствую себя огромной и неуклюжей. Пока она кружится с каким-то господином, меня приглашает молодой человек. Со мной такого никогда не случалось, и я близка к отказу, потому что не знаю никаких движений — кроме тех, которым в гостиной меня учила мама, когда пребывала в хорошем настроении. Но молодой человек уже обвивает руки вокруг моей талии, а так как он хорошо двигается, у меня тоже получается. Он всё время молчит, и чтобы сказать хоть что-то, я спрашиваю, чем он занимается. Я работаю в посыльной службе, коротко отвечает он. Это как-то связано с послом — думаю я и решаю, что он дипломат. Безусловно, это поинтереснее, чем «стабильный мастер». Может быть, он захочет протанцевать со мной весь вечер или даже чуточку в меня влюбился. Мое сердце бьется быстрее, и я совсем немного склоняюсь к нему. Ночка, ночка, вот и вышли воры, напевает он под музыку мне на ухо. Внезапно он останавливается, усаживает меня рядом с моей мамой и исчезает навеки. А он симпатичный, говорит она. Вот бы он вернулся. Он дипломат, хвастаюсь я. Работает в посыльной службе. Ох, боже милостивый, смеется мама, ведь это всего лишь служба доставки!

Из национальной церкви мы вышли, так что у меня будет гражданская конфирмация. Я отличаюсь от всех девочек

в нашем классе, которых наставляет пастор, но меня это не волнует, так как я больше не стараюсь быть на них похожей. По субботам, когда Виктор Корнелиус играет на радио по случаю субботних танцев, они по очереди ходят друг к другу в гости. Мальчиков тоже приглашают, и многие из моего класса уже с кем-то встречаются. У нас дома радио нет, и мне больше не доставляет радости сидеть в наушниках и слушать потрескивание детекторного приемника, собранного братом в школе. И даже если бы радио у нас было, мои родители вряд ли готовы устраивать субботние танцы в мою честь. Сейчас у меня экзамены, но мне всё равно, какие оценки я получу. Наверное, я всё-таки разочарована, что мне нельзя учиться в гимназии. Разрешили только одной девочке из нашего класса. Ее зовут Ингер Нёргор, и она такая же долговязая, как я. Она занята только учебой и получает «отлично» по всем предметам. Остальные поговаривают, что, продолжая учиться, она останется старой девой. Я никогда по-настоящему не разговаривала с ней, как и с кем-либо другим в школе. Я держала всё в себе, и иногда мне казалось, что я задыхаюсь. Я перестала по вечерам гулять вместе с Рут и Минной по Истедгаде, потому что их разговоры всё чаще сводились к одним непристойным шуткам, которые не всегда можно превратить в нежные ритмичные строки в моей душе, что становится всё более ранимой. С мамой я беседую только о пустяках — о нашем обеде или соседях снизу. Когда Эдвин съехал, отец совсем притих, и для него я всего лишь одна из тех, кому нужно «встать на ноги» — со всеми ужасными событиями, которые он подразумевает под этим выражением. Однажды, навещая брата, я с удивлением слышу от него, что Торвальд хочет со мной познакомиться. Эдвин рассказал ему, что я пишу стихи, и теперь спрашивает, можно ли его другу их прочесть. Ошеломленная, я говорю «нет», на что мой брат отвечает: Торвальд знает редактора в «Социалдемократен», который может напечатать мои стихи, если они окажутся достаточно хороши. Он произносит это, преодолевая сильный приступ кашля, — брат не переносит целлюлозного лака, с которым

работает. В конце концов я поддаюсь и обещаю вернуться на следующий вечер со своим альбомом, чтобы показать его Торвальду. Он тоже работает подмастерьем у маляра, ему восемнадцать лет, и он не обручен. О последнем я справилась особо, так как уже начала мечтать о Торвальде как о том самом молодом человеке, который поймет всё почти без слов.

На следующий вечер с альбомом в ранце я иду на Багерстред. На людей, что попадаются мне по дороге, я смотрю уверенно: скоро я стану известной, и они будут гордиться, что встретили меня на пути к звездам. Я очень боюсь, что Торвальд высмеет мои стихи, как когда-то давно Эдвин. Я представляю его себе похожим на моего брата, только с жидкими черными усами. Когда я вхожу в комнату, Торвальд сидит рядом с Эдвином на кровати. Он встает и протягивает мне руку. Он невысокий и плотный. Волосы у него светлые и жесткие, а лицо усыпано прыщами разной степени зрелости. Он явно скромнен и всё время проводит рукой по волосам так, чтобы они встопорщились. Я в ужасе смотрю на него: мне кажется, что показать ему свои стихи я не смогу. Это моя сестра, говорит Эдвин совершенно неуместно. Она чертовски хорошенькая, подхватывает Торвальд и проводит пальцами по волосам. Я нахожу это очень милым и, улыбаясь ему, сажусь на единственный в комнате стул. Не стоит обманываться внешностью, думаю я. Возможно, он и в самом деле считает меня красивой. В любом случае он первый человек, сказавший мне что-либо подобное. Я достаю альбом из сумки и немного держу его в руках. Я так боюсь, что этот влиятельный человек посчитает мои стихи никудышными. Я и сама не знаю, хороши ли они. Отдай ему, нетерпеливо произносит брат, и я неуверенно протягиваю альбом. Пока Торвальд перелистывает страницы и читает, серьезно насупившись, я попадаю в совершенно новый пласт бытия. Я одновременно возбуждена, тронута и напугана, и кажется, что альбом — это трепещущая, живая часть меня самой, которую можно уничтожить одним-единственным безжалостным ранящим словом. Торвальд читает в тишине, и на его лице нет и следа улыбки. Наконец он

захлопывает альбом, с восхищением поднимает на меня светло-голубые глаза и решительно произносит: они дьявольски хороши! Манерой говорить он напоминает Рут. Ей так же с трудом удается сложить слова в предложение, не приправив его ругательством, почти всегда одним и тем же. Но судить о людях по речи не стоит, и в этот момент Торвальд мне кажется одновременно умным и красивым. Вы и правда так думаете? — радостно спрашиваю я. Еще как думаю, подтверждает он. Ты легко сможешь их продать. Его отец работает в типографии, объясняет Эдвин, и знаком со всеми редакторами. Да, гордо говорит Торвальд, я об этом, ей-богу, позабочусь. Дай мне альбом с собой, покажу его своему старику. Нет, быстро отвечаю я и хватаюсь за стихи. Я сама хочу пойти туда и показать их редактору. Просто скажите, где он живет. Да, никаких проблем, легко соглашается Торвальд, я объясню Эдвину, а он — тебе. Я убираю альбом в мою сумку и тороплюсь домой. Мне хочется побыть наедине с собой и помечтать о своем счастье. Сейчас для меня не важны конфирмация, взросление и выход в чужие люди, не важно совершенно ничто, кроме будоражащей перспективы напечатать в газете хоть одно стихотворение.

Торвальд и Эдвин держат слово, и несколько дней спустя у меня в руках клочок бумаги, на котором написано: «редактор Брохманн, “Емметс Сендаг”, “Социалдемократен”, Нерре Фаримагсгаде, 49. Вторник, в два часа дня». Я наряжаюсь в выходную одежду, натираю щеки маминой розовой папиросной салфеткой и, солгав ей, что обещала посидеть с Ольгиным ребенком, направляюсь на Нерре Фаримагсгаде. В огромном здании я нахожу дверь с табличкой, на которой значится имя редактора, и осторожно стучу. Войдите, доносится оттуда. Я вхожу в кабинет, где за большим письменным столом, заваленным бумагами, сидит пожилой человек с седой бородой. Присаживайся, говорит он доброжелательно, и указывает рукой на стул. Я сажусь, охваченная неистовым смущением. Ну что, спрашивает он и снимает очки, что тебе нужно? Так как я не могу выдать из себя ни одного слова, мне в голову не приходит ничего другого, как протянуть ему довольно

потертый маленький альбом. Что это? Он листает его и вполголоса зачитывает несколько стихотворений. Взглянув на меня поверх очков, он с изумлением произносит: довольно чувственные, не правда ли? Я краснею и выпаливаю: не все. Он продолжает читать и говорит: нет, не все, но именно чувственные, черт возьми, удались больше. Сколько тебе лет? Четырнадцать, отвечаю я. Н-да. Он с сомнением поглаживает бороду. Я редактирую только детскую полосу, и мы не можем их принять. Возвращайся через пару лет. Он захлопывает мой альбом и с улыбкой протягивает мне. Прощай, дружок, говорит он. Я неловко выбираюсь из кабинета вместе со своими раздавленными надеждами. Медленно, разбитая, плетусь я домой через городскую весну, чужую весну, чужие радостные превращения, чужое счастье. Мне никогда не стать известной, стихи мои никчемны. Я выйду замуж за «стабильного мастера», который не будет пить, и у него будет «постоянная работа с обязательной пенсией». После этого смертельного разочарования до новой записи в альбоме проходит много времени. Даже если мои стихи никому не интересны, я должна их писать, ведь они приглушают страдания и тоску в моем сердце.

Во время подготовки к моей конфирмации возникает важный вопрос: звать ли Бездонную Бочку. Он никогда у нас не бывал, но теперь неожиданно покончил со спиртным. Весь день он сидит на месте и пьет столько же сладкой газированной воды, сколько до этого — пива. Мои родители считают, что для тети Розалии это большая радость. Но она совсем не выглядит счастливой, потому что у ее мужа от плохой печени очень желтое лицо и долго он не протянет. В моей семье уверены, что для нее так будет лучше. Теперь мне разрешают ходить к ним в гости, ведь я больше не рискую увидеть или услышать там неподобающие вещи. Но дядя Карл совсем не изменился. Он по-прежнему угрюмо и неразборчиво бормочет в стол о гнилом обществе и о бесполезных министрах и время от времени отдает тете Розалии короткие, почти телеграфные указания, а она повинуется его малейшему жесту, как всегда и делала. Бутылки из-под газированной воды выстроены перед ним в ряд, и уму непостижимо, как один человек способен вместить столько жидкости. Родители меня удивляют. Спускаясь в подвал за углем, обычно спотыкаешься о пьянчугу, который отсыпается после попойки, завернувшись в излохмаченную шинель, а на улице пьяные настолько привычны, что никто не удостоивает их взгляда. У ворот почти каждый вечер стоит толпа мужчин с пивом и шнапсом, и только совсем маленькие дети боятся их. Всё детство нам запрещали встречаться с дядей Карлом, хотя это несказанно порадовало бы тетю Розалию. После долгих обсуждений между родителями и тетей Агнете решено позвать его на мою конфирмацию. Соберется вся семья, кроме четырех моих кузин, которым просто не хватит места в гостиной. Событие это приводит маму в приподнятое настроение, и она считает меня неблагодарной и странной, поскольку я не скрываю мыслей, что все эти приготовления совсем ко мне не относятся.

Экзамены позади, в школе выпускной. Все ликуют, потому что покидают «красную тюрьму», и я стараюсь больше всех. Меня очень тревожит, что я не испытываю никаких подлинных чувств и что мне всегда приходится притворяться, имитируя реакции других людей. Только вещи, о которых я узнаю опосредованно, могут пробудить во мне эмоции. Я способна заплакать, увидев в газете фотографию несчастной семьи, вышвырнутой из дома, но на улице такая повседневная сцена меня совсем не трогает. Стихотворения и поэтическая проза захватывают меня, как и прежде, но то, что в них описывается, оставляет меня совершенно равнодушной. Я почти не думаю о действительности. Когда я прощалась с фрекен Маттиасен, она поинтересовалась, нашла ли я работу. Я ответила утвердительно и принялась с фальшивой веселостью небрежно рассказывать о моем поступлении в школу домашнего хозяйства через год, а до этого времени я буду работать в доме у одной женщины и присматривать за ее ребенком. Все остальные отправлялись в конторы или в магазины, и я стыдилась своей участи горничной. Фрекен Маттиасен пристально посмотрела на меня своим умным и дружелюбным взглядом. Да-да, вздохнула она, очень жаль, что ты не пойдешь в гимназию. После конфирмации мне сразу же придется приступить к работе. Устраиваться на место я отправилась вместе с мамой. Фру была разведена и обращалась с нами с холодной снисходительностью. Непохоже, чтобы ее интересовало, что я пишу стихи и мое возвращение к Брехманну, редактору «Социалдемократен», — вопрос всего нескольких лет. Квартира не отличалась изысканной обстановкой, хотя там, конечно же, были и ковры, и рояль. Днем хозяйка работает, и за это время надо убраться, приготовить еду и присмотреть за ее мальчиком. Ничего из этого я раньше никогда не выполняла и не знала, насколько рьяно должна стараться за двадцать пять крон, полагающихся мне раз в месяц. Детство и школа остались позади, а впереди ждет неизвестная и пугающая жизнь среди чужих. Я поймана, зажата между этими двумя полюсами, как зажаты и мои ноги в тесных остроносых парчовых туфлях. Я сижу в здании «Одд

Феллоу»¹⁰ между родителями и слушаю речь о том, что будущее Дании за молодежью и нам никогда нельзя разочаровать наших родителей, которые так много для нас сделали. Все девочки, как и я, на коленях держат букеты гвоздик и выглядят скучающими, как и я. Мой отец одергивает крахмальный воротник, а Эдвина мучают приступы кашля. Врач сказал, что ему нужно сменить работу, но это, разумеется, невозможно, ведь он отучился целых четыре года на подмастерье маляра. На маме новое черное шелковое платье с тремя лоскутными розами возле шеи, а ее недавно завитые волосы кудрявятся по всей голове. Завивка эта достается ей нелегко — отец ворчит, что они не могут себе это позволить, и считает ее «новомодной» и легкомысленной. Мне мама больше нравилась с длинными прямыми волосами. Время от времени она прикладывает к глазам носовой платок, но я не знаю, плачет ли она по-настоящему. Никакой причины для этого я не вижу. Я думаю о том, что когда-то самым важным на свете был вопрос, любит ли меня моя мама, но этого ребенка, который вечно жаждет ее любви и всегда ищет любого ее знака, больше нет. Теперь мне кажется, что любит, но это не делает меня счастливой.

На ужин у нас жаркое из свинины и лимонный мусс, и мама, которую раздражают любые домашние хлопоты, успокаивается лишь к десерту. Дядю Карла посадили рядом с печкой, и он так потеет, что то и дело вытирает носовым платком свою плешивую шарообразную голову. В другом конце стола сидит дядя Питер, плотник, и вместе с тетей Агнете, которая в молодости пела в церковном хоре, он представляет культурную часть нашей семьи. Она сочинила для меня песню, потому что у нее есть «жилка», которая требуется для подобных случаев. Там поется о разных малоинтересных событиях моего детства, и каждый куплет заканчивается словами: «Да пребудет с тобой Господь Бог, ля-ля-ля, и пусть удача и счастье сопутствуют тебе всегда, ля-ля-ля». Когда мы доходим до припева, Эдвин смотрит на меня, глаза его смеются, и я торопливо перевожу взгляд на текст песни, чтобы не расплыться в улыбке. Затем дядя

Питер встает с поднятым бокалом. Он хочет выступить с речью. Это напоминает мне речь в здании «Одд Феллоу», и я слушаю его вполуха. Что-то про вступление в ряды взрослых и пожелание быть такой же работающей и умной, как мои родители. Речь немного затягивается. Дядя Карл постоянно повторяет «вот именно», словно он пил вино, а Эдвин кашляет. У мамы стеклянный взгляд, и я съеживаюсь от неловкости и скуки. В конце все кричат ура, и тетя Розалия тихо произносит, окутав меня своим любящим взглядом: Боже мой, ряды взрослых! Она же ни рыба ни мясо. Я чувствую, что у меня начинают дрожать уголки рта, и спешу опустить взгляд в свою тарелку. Это самое нежное и, пожалуй, самое правдивое, что было сказано на моей конфирмации. После ужина можно немного размяться, и все, кажется, пребывают в более приподнятом настроении, чем поначалу, — возможно, из-за вина. Родственники восхищаются маленькими наручными часами, которые я получила в подарок от родителей. Мне они тоже нравятся и, думаю, придают моему запястью более солидный вид. Все остальные подарили мне деньги, набралось больше пятидесяти крон, но всю сумму положат в банк на мою старость, поэтому я не особенно радуюсь.

Когда гости уходят и я заканчиваю помогать маме с уборкой, мы все вместе садимся за стол и болтаем. Хотя уже за полночь, у меня сна ни в одном глазу, и я чувствую облегчение от того, что празднование позади. Боже, сколько он съел, говорит мама, имея в виду дядю Питера, вы видели? Да, отвечает отец возмущенно, и выпил! Когда всё бесплатно, тогда уж он не может устоять перед соблазном. А еще он сделал вид, будто Карла там не было, продолжает моя мама, жаль Розалию. Неожиданно она улыбается мне и спрашивает: не правда ли, чудесный день, Тове? Я думаю о том, как много беспокойства и затрат это стоило моим родителям. Да, вру я, это была хорошая конфирмация. Мама одобрительно кивает и зевает. И вдруг ее озаряет идея. Дитлев, произносит она радостным голосом, а теперь, когда Тове начинает зарабатывать деньги, не можем ли мы себе позволить радио? От страха и бешенства

кровь ударяет мне в голову. Вы не будете покупать радио на мои деньги, возбужденно отвечаю я. Мне они самой нужны. Ах так, отвечает мама ледяным голосом и выходит, топая и хлопнув дверью так, что со стены сыплется штукатурка. Отец смущенно смотрит на меня. Тебе не стоит воспринимать это буквально, объясняет он. У нас есть небольшие сбережения в банке, на них мы можем купить себе радио. Тебе нужно лишь оплачивать свое проживание дома. Да, отвечаю я и сожалею о своем неистовстве. Я знаю, что теперь мама не будет разговаривать со мной несколько дней. Отец добродушно желает мне спокойной ночи, и я иду в спальню, где мне больше никогда не сидеть на подоконнике и не мечтать о том счастье, что постижимо лишь для взрослых.

Я одна в гостиной моего детства, где когда-то брат заколачивал гвоздь в доску, пока мама пела, а отец читал запрещенную книгу, которая уже много лет не попадалась мне на глаза. Это было так давно, и я думаю, что тогда была очень счастлива, несмотря на мучительное ощущение бесконечности детства. На стене жена рыбака пристально вглядывается в море. Серьезное лицо Стаунинга обращено ко мне — когда-то очень давно мой Бог принял его облик. Хотя я, как и прежде, буду жить дома, мне кажется, что этой ночью я прощаюсь с комнатой. Мне совсем не хочется ложиться, и сон ко мне не идет. Меня охватывает бескрайняя тоска. Я сдвигаю герани на подоконнике и смотрю на небо, где новорожденная звезда светит в колыбели новой луны, укачивающей ее мягко и нежно между мятежными облаками. Я произношу про себя строчки из «Ледника» Йоханнеса В. Йенсена, которые читала так часто, что помню длинные отрывки наизусть: «Девочка же, убитая на груди матери, светится то вечерней, то утренней звездочкой, беленькой и задумчивой, словно душа ребенка, одиноко играющая сама с собой на путях вечности»¹¹. Слезы текут по щекам, потому что эти слова всегда заставляют меня думать о Рут, которую я навсегда потеряла. Рут с ее маленьким ртом в форме сердечка и твердым ясным взглядом. Моя потерянная

подруга с острым языком и любящим сердцем. Кончилась наша дружба, как кончилось и мое детство. Сейчас с меня облезает последняя шелуха обгоревшей кожи, и под этим слоем проглядывает нескладный, невозможный взрослый. Я читаю стихи в своем альбоме, пока ночь бродит за окном, и, не спросив меня, детство беззвучно падает на самое дно воспоминаний, в эту библиотеку души, где я буду черпать знания и опыт до конца своего существования.

Примечания редакции

- [1.](#) По-видимому, это репродукция картины датского художника Антона Лоридса Йоханнеса Дорфа (1831–1914) «Жена рыбака ждет возвращения мужа с моря», написанной в 1905 году. — *Примеч. ред.*
- [2.](#) Учреждение для малоимущих, где применялся принудительный труд. Действовало в Копенгагене с 1908 года. Фактически — рабочий дом. Сейчас на этом месте находится центр занятости для уязвимых групп населения. — *Примеч. ред.*
- [3.](#) Тип застройки старой части Копенгагена: выходящее фасадом на улицу здание считалось «парадным», а во дворе возводились дома, которым присваивался тот же номер, но с литерой. Попасты во двор можно через арку в парадном здании. — *Примеч. ред.*
- [4.](#) Остров в проливе Эресунн, на котором расположена часть Копенгагена. — *Примеч. ред.*
- [5.](#) Далекая экзотическая страна из датской детской песенки по стихотворению Юлиуса Кристиана Герсона (1811–1894), герой которого, путешествуя по миру, ищет великанов. — *Примеч. пер.*
- [6.](#) Пинг — пингвин, персонаж популярного комикса, который издавала либерально-консервативная газета «Берлинске Тиденде» с 1922 по 1949 год. «Клуб Пинга» устраивал различные мероприятия для детей. — *Примеч. пер.*
- [7.](#) Отвечая на Ваш запрос, я могу особенно порекомендовать пансионат по адресу Вобурн-Плейс, 11. Прошлой зимой некоторые из моих друзей останавливались там и благосклонно о нем отзывались. — *Примеч. пер.*
- [8.](#) Перевод Софьи Тархановой. — *Примеч. пер.*
- [9.](#) Объединение рядовых членов социал-демократической партии Дании. — *Примеч. пер.*

[10.](#) Здание в Копенгагене, принадлежавшее независимому братству Odd Fellows (так называемый Орден чудаков), основанному в Англии в 1819 году и основавшему ложу в Дании в 1900-м. — *Примеч. ред.*

[11.](#) Перевод Анны Ганзен. — *Примеч. пер.*

Оглавление

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Над книгой работали

Перевод: Анна Рахманько

Редактор: Ольга Дергачева

Корректурa и верстка: Юлия Кожемякина

Дизайн обложки: Юлия Попова

Технический редактор: Лайма Андерсон

Главный редактор: Александра Шадрина

Электронная версия книги подготовлена компанией

Webkniga.ru, 2020